

**ВРЕМЯ  
ИМЫ** 107  
1989



*ЮРИЙ БОРЕВ*  
**ВРАГ НАРОДА**

# ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Пятнадцатый год издания.*

Выходит один раз  
в три месяца

---

107  
1989

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

<b>ВАГРИЧ БАХЧАНЯН</b>	<b>ГРИГОРИЙ ПОЛЯК</b>
<b>ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ</b>	<b>ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН</b>
<b>ДЖОН ГЛЭД</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ</b>	<b>МОРИС ФРИДБЕРГ</b>
<b>АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН</b>	<b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>
<b>ФЕЛИКС МЕДВЕДЕВ</b>	<b>ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)</b>
<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>	

Московское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующий отделением Феликс Медведев  
Адрес отделения: Москва, 103062  
ул. Чернышевского, д. 43-а, корп. 4, кв. 8

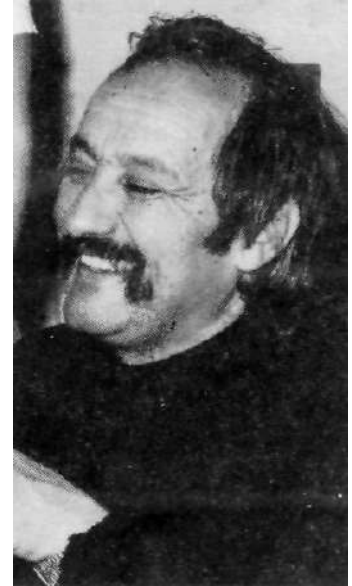
Израильское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800  
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине  
Marianna Shmargon, Shlobstr. 30/30  
1000 Berlin (West) 19

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПРОЗА</b>	
<i>Борис НОСИК</i>	
Турпоход.....	5
<i>Асар ЭППЕЛЬ</i>	
Бутерброды с красной икрой.....	68
<i>Сергей ДОВЛАТОВ</i>	
Соло на IBM. ....	83
<b>ПОЭЗИЯ</b>	
<i>Андрей ДЕМЕНТЬЕВ</i>	
Азарт.....	89
<i>Тимур КИБИРОВ</i>	
Три послания.....	100
<b>ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА</b>	
<i>Эраст ГЛИНЕР</i>	
Растерянная бюрократия и неизвестный народ .....	111
<i>И.КЛЯМКИН, А.МИГРАНЯН</i>	
Нужна железная рука?.....	123
<i>Петр БОЛДЫРЕВ</i>	
Спасет ли «железная рука» экономику СССР?.....	131
<i>Семен РЕЗНИК</i>	
Левый марш крайне правых.....	141
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Кто мы и откуда?.....	160
<b>НАШЕ ИНТЕРВЬЮ</b>	
<i>Борис ХАЗАНОВ</i>	
Дисциплина и безответственность писателя. Интервью Дж.Глэда.....	175
<b>ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО</b>	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Москва. День первый.....	199
<i>Юрий БОРЕВ</i>	
Враг народа.....	232
<b>ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»</b>	
<i>В. ПЕТРОВСКИЙ</i>	
Портреты России.....	268



*Борис НОСИК*

## ТУРПОХОД

Белый дворец стоял над морем, на крутом обрыве. Его стены были испещрены арабской вязью, легкие арки тянулись по всему фасаду, а над мавританским куполом маячил легкий минарет. Та же вязь и белая алебастровая лепнина украшали интерьер, мешаясь там, впрочем, еще более небрежно с полдюжиной европейских стилей. В общем, это была типичная крымская «альгамбра» начала века, та самая, что на всю жизнь дает курортной массе образец «древних зданий».

Зенкович вышел из автобуса, оглядел дачную «альгамбру», построенную под занавес кем-то из великих князей, оглядел тенистый двор, кипарисы, цветы, синее море внизу под обрывом и признал, что это недурно. Очень и очень недурно. Может быть, чуток безвкусно, чуть слишком картинно, но кипарисы-то настоящие. И магнолии настоящие. И тамариски настоящие, и горы, да и дворец, в конце концов, сам хан не построил бы лучше, не смог бы построить

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

---

\*Рукопись пришла по каналам самиздата.

более по-восточному безвкусно: вон стоит же Бахчисарай как образец этой неги и безвкусицы... Нет спору, чуток обрыдло, поскольку видишь эту роскошь на всех рекламках сберкассы («В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила»), однако после долгого перерыва сойдет, даже приятно, красиво, ничего не скажешь, сладостно...

Зенкович приехал отдыхать. Врач сказал, что ему надо «отдыхать по-настоящему», не брать с собой никакой работы, желательно не брать даже книг. И Зенкович растерялся. Куда, как, зачем? На помощь ему неожиданно пришел школьный приятель, работавший где-то в военном ведомстве. Приятель сказал, что у них до черта разных санаториев и турбаз по всему берегу Крыма и Кавказа, так что он может в любой момент... Зенкович санаториев еще не хотел, оставлял их напоследок, так что он оставил свой выбор на турбазе. И приехал сюда...

Сейчас он вдохнул запах моря, кипарисов, разогретого асфальта и решил, что да, он будет отдыхать.

Новичков сразу повели на обед. Столовая радовала глаз. На белоснежных стенах была та же арабская вязь, а на столах — чистые скатерти. Да и еда оказалась приятной. Во всяком случае не мерзостной — чего еще ожидать от нарпита?

После обеда их ждало распределение по комнатам. Зенковича направили в палату № 12, расположенную в самом большом и мавританском из всех старых корпусов. Двенадцатая палата, видимо, служила в старину столовой или танцзалом. Трудно сказать, для каких нужд использовал ее великий князь, но сейчас в ней стояло двадцать коек, отделенных друг от друга полуметровым проходом и тумбочкой. Зенковичу указали на шестую койку слева, и он тяжело опустился на нее, все еще надеясь, что его еще окликнут и скажут, что это была шутка. Казарменная шутка. Впрочем, других новичков это обилие коек, кажется, не смущало. Разговоры среди них шли о питании, о камере хранения, куда велели сдать все лиш-

ние и ценные вещи, а также о ближайшем продмаге, который закроется по случаю воскресенья не то в пять, не то в шесть.

Чтобы отбить мерзкое воспоминание о казарме, Зенкович улегся с ботинками на койку и стал смотреть на потолок, покрытый таинственными арабскими надписями: аллах ведает, о чем они просили его, эти надписи... Зенкович размышлял о том, что имущие классы прошлого подложили победившему пролетариату свинью в виде огромных квартир и дворцов с просторными залами. В огромные квартиры вселились огромные коллективы, создав единственный в своем роде земной ад, названный «коммунальной квартирой». А во дворцах... Один аллах ведает, что было делать с дворцами. Все-таки они могли бы оставить нам в наследство строения, поделенные на малогабаритные ячейки. При их-то возможностях...

Зенкович взял плавки и пошел к морю. Море было синее и все сплошь состояло из соленой воды. Судя по виду, оно не отступило еще перед натиском цивилизации. Оно было незыблемым, хотя и зыбким оплотом природы. Зато скалам пришлось потесниться. На них сверкали огни электросварки. Здоровенные парни в тренировочных костюмах вбивали в скалу клинья арматуры и заливали ее бетоном, чтобы сделать скалы вечными. Люди решили обосноваться в Крыму навечно.

Справа и слева от пляжа, сверкая на солнце, водопадами низвергались в море две неизвестные речки.

— А это что за река? — спросил любознательный Зенкович.

— Это не река, — сказал бронзовый матрос спасательной службы. — Это канализация. Там сверху санаториев тыщ на пятнадцать отдыхающих. Все жрут, а сюда идет... Ничего. Все в море будет.

Плечистый мужчина вышел из воды, фыркая и отплевываясь. Зенкович невольно посторонился. Он теперь смотрел на море с особой взыскательностью. В зеленовато-

синих валах Эвксинского Понта ему стали чудиться коричневые полутона.

Транзистор запел на пляже голосом Мулермана. На минарете, через громкоговоритель, точно муэдзин, отозвался Кобзон. Зенкович понял, что он вступает в счастливую страну Курортландию, на радужное побережье профздравниц, шумных и разноголосых кузниц здоровья, в страну, которую по какому-то недоразумению или нитию он обходил стороной всю свою сознательную жизнь. Теперь он должен был вырубить себе в этом шумном мире собственную экологическую нишу или погибнуть. Только теперь он понял, как ему хочется жить, и отметил, что отдых уже сыграл свою положительную роль, пробудив в нем неукротимую жажду жизни. Иначе ему ни за что не одолеть было бы бесчисленные ступени, выводящие из преисподней пляжа на крутобережье спальных корпусов. Двадцатая палата больше чем когда-нибудь напоминала сейчас казарму в воскресные часы «личного времени». Разновозрастные мужчины в длинных трусах слонялись между койками, ища применения своей освобожденной энергии и трудовым навыкам. Зенкович свысока взглянул на обитателей комнаты, вздохнул, вспоминая врача, и вытащил из-под подушки толстый французский роман. Однако ему предстояло убедиться, что его чувство превосходства лишено всякой почвы. У этих людей, так неприкаянно бродивших среди коек по территории бывшего танцзала, было великое спасительное средство, доступное и беспроегрышное, как воздух. И теперь, застигнутые врасплох досугом, они немедленно обратились к этому средству и уже предвкушали начало первого сабантуя. По-существу, отдых их должен был обратиться в непрерывное пиршество. Зенкович краем уха слышал, что первая экспедиция, отправленная за водкой («и что-нибудь, чуть-чуть, на закуску, какую-нибудь ерунду»), уже находилась в пути.

Зенкович покинул палату, получив первое, пока еще не

очень навязчивое предложение «скинуться». Зенкович «не брезговал» и ему не жаль было рубля. Беда его заключалась в том, что он был непьющий.

Скамья над обрывом пустовала. Море мирно плескалось внизу о натуральный кусок скалы, производя белую, совсем натуральную пену. Под ногами у Зенковича цвело что-то пахучее и прекрасное. На память приходили экзотические названия: гледичия, глициния, текома, крокус... По пляжу санатория, внизу под обрывом, прошла женщина в желтом купальнике, вызвав в душе Зенковича неясное, почти возвышенное томление. Хотелось думать, что женщина эта неглупа, красива и недоступна. Зенкович сам не заметил, как его праздные мечтания облеклись в форму диалога. Он мысленно вел разговор с незнакомой женщиной. Она оказалась такой простой, интеллигентной и глубокой. Не менее фантастической личностью был и второй участник диалога, сам воображаемый Зенкович, который был гораздо находчивей, сдержанней и остроумней реального Зенковича. Последний с грустью отмечал этот разрыв, эти, как любят говорить редакторы, «ножницы»...

Смеркалось. За кипарисами вдруг грянула музыка. Играл какой-то вполне современный, вполне «битовый» и вполне провинциальный оркестр. У нетанцующего Зенковича сладко защемило сердце, точно он был десятиклассницей, спешащей на шум танцплощадки по темной аллее горпарка. О, танцы! Значит, будут танцы. Будут танцы-шманцы. Будет очень медленное танго, белое танго, и какая-нибудь застенчивая, интеллигентная женщина, может быть, та самая, в желтом купальнике, пригласит Зенковича и скажет при этом что-нибудь ироническое, понимая всю ложность их положения и необходимость преодолеть порог первых трех-четырёх ничего не значащих фраз. А потом они забудут эту первоначальную неловкость, они будут говорить так, словно они уже сто лет знакомы, потому что они люди одного уровня, конечно, она по-своему, по-женски выдерживает уровень, с нее, в общем-то, взятки

гладки, точнее даже, одного круга, хотя какие в наше время могут быть круги... У них начнется такое вот ни к чему не обязывающее знакомство, которое поможет им преодолеть скучную процедуру, называемую отдыхом, а может, как знать? — внесет в их жизнь нечто новое и даже неизведанное, была же вот здесь, в Ялте, неподалеку, какая-то инфантильная дама с собачкой... Таким мыслям, вполне подстать музыке, Зенкович предавался в течение получаса, после чего он занес книгу в двадцатую палату, где уже стоял вполне вокзальный гам пьяных голосов, и отправился на танцы.

Всем известно, что танцы редко оправдывают все возлагаемые на них надежды, Зенкович простоял битый час у стены, добросовестно притворяясь заинтересованным, стоял с видом этакого этнографа, изучающего смесь шейка, лезгинки и вятской топотуньи, которую с энтузиазмом демонстрировали здесь местные подростки и молодые провинциалы — отдыхающие. Тонкая, простая, интеллигентная женщина так и не пришла в тот вечер на танцы. Может, она еще просто не приехала в Крым. А может, она остановилась в менее обжитом и более элитарном Восточном Крыму, и ей сейчас где-нибудь на коктейбельской набережной, под эгидой Дома творчества письменников, пудрил мозги более удачливый коллега Зенковича. Ни одно из этих предположений не облегчало участи Зенковича, который должен был, не солоно хлебавши, отправляться на ночлег в свою двадцатую палату, так идеально оборудованную для веселья, что пессимистический основоположник соцреализма в поэзии только бы диву дался, получив здесь любую по счету койку. Веселье было в разгаре. Громкоголосый офицер, принявший достаточную дозу чего-то крепкого, рассказывал, какие они откалывали хохмы у себя в Краснопролетарском офицерском городке в позапрошлом году, когда командиром полка еще был Петрущенко, а замполитом этот, как его, Дгацпхаев.

Зенкович лежал, крепко закрыв глаза, считал про се-

бя до трех тысяч восьмисот сорока восьми и дальше, тщетно пытаюсь уснуть, а потом, преодолев и природную незлобливость и сознательный гуманизм, пожелал скорейшей и мучительной смерти громкоголосому офицеру, а также Петрущенко, Дгацпхаеву и всему гарнизону Краснопролетарского городка...

Яркую лампу, горевшую над его головой, в конце концов все же погасили, голоса стали тише, и Зенкович уже начал засыпать, когда в ближнем углу вдруг вспыхнула ссора. Спорили о том, с какого числа было введено звание прапорщиков, какая из легковых машин хуже, и еще — кто сегодня сколько внес на водку. Не исключено, что именно последний вопрос лежал в основе других разногласий, однако спор в конце концов все же сосредоточился на машинах... Оставив тщетные попытки уснуть, Зенкович вышел во двор пописать, покурить под кипарисом, наконец, просто отдохнуть от шума.

И здесь, на скамейке, он встретил Надю. Это была она, та самая интеллигентная женщина, к которой он тщетно взывал весь вечер из мрака профздравницы. Правда, она была чуть моложе, чем он представлял себе, чуть ниже ростом и чуть полнее, и все же она была ничуть не хуже, чем та абстрактная представительница лучшего пола, которую он намечтал сегодня над морем. Надя была тупоносенькая, розовощекая, голубоглазая. Пожалуй, на более придирчивый и взыскательный взгляд, чем взгляд Зенковича (который различал женские лица уже не индивидуально, а целыми группами), лицо ее было чуть грубоватым и простонародным для «незнакомой интеллигентки». Однако она и на этот взыскательный взгляд выделялась все же в массе организованных туристок — то ли какой-то большей умытостью и ухоженностью, то ли спокойной, можно было бы сказать, привычной манерой носить джинсовый костюмчик (по всей вероятности, польский, но может, даже из валютного магазина). Зенкович не мог бы сразу сказать, что стояло за этим

отличием. Может, она всего-навсего купила путевку за полную стоимость, а не взяла ее в местком после долгого сопротивления за треть цены. А может, она к тому же была замужем...

Все разъяснилось в первые же пять минут разговора (они ведь не могли не разговориться, оставшись наедине в пустом дворе ночью, близ бубнящей перенаселенной террасы):

— Так жарко, так жарко, не могу уснуть, не выкурив на ночь сигарету...

— Черт знает что, столько народу в палате...

— Я люблю сидеть ночью среди кипарисов, я мечтаю и мечтаю, я, вообще, такая выдумщица.

— Воздух в помещении спертый, пахнет винищем, говорят всю ночь бог знает о чем, о каком-то Петрущенко.

— А я люблю отдыхать в деревне, у моей мамы, в Томилино, такой воздух, такой воздух...

Надя окончила институт; она знала французский язык, испанский хуже; она была замужем и жила в Москве; она была родом из подмосковного захолустья, из Томилино (остатки природы, воздух и «немосковский» комплекс неполноценности, который приводит к неизбежному переселению — любой ценой — в близлежащую столицу)...

Зенковичу нетрудно было настроиться на ее лад. Они поговорили о воздухе, об окрестностях Томилино (танцплощадка в Малаховке, купание в Краскове — воробью по яйца), о преподавании языка в Морисе Торезе, который во времена Зенковича, имитируя английские сокращения, называли Эм-Джи-Пи-Ай-Ай. И тут Зенкович узнал еще одну подробность, может быть, самую существенную для объяснения ее отличий от путевочной массы: она работала с иностранцами. Работала где-то в системе обслуживания, неважно где, важно, что это был уже другой мир, куда ступала нога человека из ненашего мира («У меня в основном негры, арабы, все время норовят комплимент сделать или назначить свидание, а уж щедры, щедры, на междуна-

родный женский меньше чем на сто рублей подарок никогда не сделают, но, конечно, работа морально утомительная, все время на людях, надо себя держать в порядке, причесочка, все-все). Они поговорили о предстоящей скуке (— а может, заняться языком — вы мне испанский, я вам английский, говорить можно по-французски. — Ой, на работе уже надоело, иногда так хочется плюнуть и перейти на русский, а не перейдешь, не дома. Но заняться, конечно, можно...), поговорили о путешествиях, о красотах Крыма (— Я бывала только в Гурзуфе, в Никитском саду и в дегустационном зале, отвратительная манера — давать вино без закуски). Конечно, разговор их не достиг уровня того диалога, полного полунамеков и недоговоренностей, который Зенкович с таким блеском вел за двоих на скамейке над морем, однако даже самому отчаянному из мечтателей приходится вносить в свои мечты некоторые поправки на реальность. Все-таки это неожиданное ночное знакомство сулило некоторые вполне реальные морально-физические радости и могло, хотя бы отчасти, примирить Зенковича с тяжкими коммунальными условиями обобществленной княжеской «альгамбры». Желая поднять предстоящее знакомство на максимально высокий уровень, Зенкович удержался от соблазна сегодня же увести Надю на ничью территорию, скрытую от корпусов колючим кустарником. Набивая цену предстоящему роману, он решил повременить. К тому же он слегка опасался диалога, которым грозила ему сцена соблазнения (— Как-то так сразу... Я никогда сразу... Ты обо мне плохо подумашь... Может, лучше завтра вечером. Или завтра с утра... — Ничего я о тебе не подумую, зачем терять благодатные ночные часы?). К тому же дорога и попытки уснуть настолько утомили Зенковича, что он не ощущал еще необходимости развлечься по-настоящему...

Они разошлись далеко за полночь, поклявшись дружить, совместно бороться со скукой, заниматься языками и гулять по Царской тропе (более укромных мест в этой части



Крыма Зенкович не смог припомнить), а также сходить в кино, в кафе «Ласточкино гнездо» и даже на танцы.

Двадцатая палата уgomонилась. Изредка вскрикивал во сне один из участников сабантуя. Время от времени кто-то шел мочиться, гремя башмаками. Громкоголосый офицер сильно храпел, уткнувшись лицом в подушку. Может быть, ему снились суровый Петрущенко и начитанный Дгацпхаев...

Зенкевичу тоже приснилась армия. Его вызвали в штаб и сказали, что его увольнение в запас было ошибкой. Пусть он еще немножко послужит, самую малость, это чепуха, сущая чепуха... Он-то знал, что это не чепуха, но никак не мог объяснить им, что это не чепуха, может, для них чепуха, а для него — нет. Он мычал, маялся, ждал пробуждения. Потом ему приснилась вольнонаемная машинистка. Она была похожа на здешнюю Надю, она улыбалась ему немалообещающе, но пришел черный, худой Дгацпхаев и, не стесняясь присутствием Зенковича, стал снимать с нее коротенькую юбочку...

Тут чьи-то ботинки прогрохали между койками в направлении туалета. Зенкович проснулся, увидел в окно синее южное небо, вспомнил свой сон, улыбнулся и решил, что он доспит на пляже...

На пляже Зенковичу уснуть не удалось. Сначала матрос не выдавал лежаки. Потом вдруг заиграл баян, и на пляже началась физзарядка. Зенкович, всю жизнь считавший зарядку полезной для здоровья, вдруг вспомнил армию и малодушно спрятался за скалу: в армии зарядка была одним из самых тяжелых наказаний божьих. Наконец ему выдали лежак, но уснуть не удалось. Лежак оказался жестким, солнце еще не вышло из-за бетонированных скал, было зябко. Зенкович стал карабкаться вверх по лестнице, надеясь закончить восхождение к завтраку.

После завтрака радио объявило, что тридцать шестая группа отправляется на экскурсию для осмотра «Ласточкино гнездо». В автобусе Зенкович увидел Надю. Она сидела

рядом с худощавым инфантильным юношей и говорила ему что-то на ухо, интимно-безрадостно и сердито. Группу высадили из автобуса возле смотровой площадки. Внизу, над морем, нависало свежерееставрированное игрушечно-готическое «Ласточкино гнездо». Рядом с ним кроваво алели автоматы для газировки. Экскурсовод торжественно сообщил, что «Ласточкино гнездо» построено еще в конце прошлого века и долгое время находилось в аварийном состоянии, пока, наконец, бригада видных советских архитекторов и реставраторов... Экскурсовод так важничал, будто он демонстрировал им чудеса Софийского собора в Новгороде или Пизанскую башню. Он предложил им спуститься для детального осмотра памятника старинной культуры. Отсчитывая ступени, Зенкович думал о том, что в этом экзотическом древнем Крыму картонная игрушечная архитектура периода дачного освоения ЮБК затмевает для курортника всю прочую «доисторическую» жизнь. Зенкович отсчитал двести ступеней, когда его догнала Наденька. Призвав на помощь всю свою гордость, он даже не спросил у нее, кто был этот мерзкий инфантильный юноша из автобуса. Надя заговорщицки касалась его руки, капельки пота соблазнительно поблескивали на ее коротеньком носике, обещая привычное, но еще не наскучившее Зенковичу блаженство. Конечно же, она была восхищена творением дачных архитекторов. Восторг ее возрос, когда они обнаружили, что как и прочие шедевры крымской архитектуры, «Ласточкино гнездо» было превращено в питейное заведение. Зенкович и Надя выпили омерзительно сладкий коктейль, от чего непьющий Зенкович сразу поймал кайф. Что до Наденьки, то она и без этого находилась в состоянии счастливого возбуждения. Она все чаще хватала Зенковича за руку, а однажды, во время бесконечного подъема от моря к шоссе, вдруг обняла его сзади за талию.

На обратном пути они строили планы на вечер: сейчас они будут заниматься французским, потом сходят в прибрежное кафе, а на закате пойдут гулять по Царской тро-

пе (на это последнее мероприятие оба они возлагали особые надежды). В разгар беседы Зенкович заметил давешнего инфантильного юношу, который следил за ними, неудобно вывернув голову. Он спросил о юноше у Наденьки, стараясь, чтобы вопрос его прозвучал как можно небрежнее. И она отвечала небрежно, в тон ему:

— А-а, это? Мой муж.

— Как это... муж? — оторопело спросил Зенкович.

Наденька махнула рукой:

— Я не хотела ехать вместе отдыхать, но так уж получилось... Однако он так себя здесь ведет, что это не имеет значения.

— Как он себя ведет? — с надеждой спросил Зенкович.

— Все время в шахматы играет! — сказала Наденька возмущенно.

Зенкович снова поймал на себе неприятный взгляд Надино мужа и сообщил, что ему это все неприятно. Надя стала горячо убеждать его, что он неправ, однако он остался при своем мнении. Самому себе он сказал, что ему жаль мужа, и это была правда. Он испытывал смешанное чувство жалости и неловкости. Ко всему прочему, это было некрасиво и небезопасно.

— Может, вы разведены? — предположил Зенкович.

— Нет, мы только недавно записались... — сказала Надя со вздохом. — Но как это все непохоже... Так непохоже... Я-то думала... Они какие-то все дипломаты, видные люди. Но все так непохоже...

Зенкович мог без труда догадаться, что было непохоже и на что. Брак был непохож на ее представление о браке. Дипломаты и видные люди жили по своим дипломатским правилам, непохожим на Надины представления о жизни высшего общества. Более того, при ближайшем рассмотрении, они показались ей ничуть не выше томилинского захолустного общества, а временами не дотягивали и до этого уровня. Что касается самого мальчика-мужа, то он, видимо, заскучал и ничем не напоминал больше востор-

женного мальчика-поклонника, каким он был до утраты своей постылой невинности.

Зенкович мог догадаться обо всем, мог посочувствовать Наде, ее мужу и себе, неудачнику, однако он понимал, что не сможет продолжать этот многообещающий роман на глазах у мальчика-мужа... Нелегко было объяснить это сейчас Наде, но Зенкович собрался с силами и объяснил.

Потом Зенкович вернулся в двадцатую палату, где уже скидывались на новое торжество, и со страхом стал ожидать ужина, после которого был обещан фильм, изготовленный в ГДР. Будущее было беспросветно. И здесь постылое радио вдруг объявило о записи в поход. Зенкович прислушался. Радист перечислил красоты и достопримечательности каньона, включавшие «дерево жизни», «источник молодости» и «остров любви». Кроме этих неизбежных туристических объектов, маршрут включал пещерный город Кармин-кале. Пещерных городов Зенкович еще не видел. В юности он любил ходить на экскурсии и в походы. На сей раз поход сулил ему также избавление от двадцатой палаты, от танцев и от сопливых фильмов. Зенкович вскочил с койки и пошел искать старосту группы, которой предстояло идти в поход.

Староста был крупный и краснолицый мужчина, который встретил Зенковича с неподдельным, хотя и слегка проспиртованным энтузиазмом.

— Первым тебя записываю после себя, — закричал он. — Зенкович? Зен? Хай будет Зен... Так и пишем — Зенкович. Вот группу наберем — устроим собрание... По радио объявим. Слушай радио.

\* \* \*

Зенкович обошел в тот вечер пешком пяток прибрежных санаториев. Он взбирался по крутым лестницам, слышал среди черных зарослей крики массовиков-культурников, усиленные микрофонами, а также любовные вскрики отды-

хающих. Он так нагулялся, что даже расширенная попойка в двадцатой палате и новая серия воспоминаний о Петрущенко и Дгацпхаеве не помешали ему уснуть. Засыпая, он думал, что может быть, вот эти казарменные условия и есть один из методов лечения бессоницы. Однако проснулся он задолго до рассвета, когда верный питомец Дгацпхаева, громко рыгая и гремя ботинками, отправился в туалет. Лежа без сна в предрассветном сумраке, Зенкович успокаивал неровный стук сердца рассуждением о том, что, может быть, этот опыт ему тоже окажется полезен. Во всяком случае, это нечто новое. Он ведь и забыл, что еще существуют где-то такие вот пятидесятикоечные покои для культурного, но беспокойного отдыха... Зенкович был неисправимый идеалист и оптимист, зачастую изъясняющийся (иногда даже незаметно для себя) на языке своего времени и отечественной прессы. Наблюдая священнодействия кишлачного муллы над больным, сбор калыма, вручение взяток или быт сибирских строителей, живущих в алюминиевых вагончиках, Зенкович приходил в прекрасодушное изумление, удивлялся, что такое еще существует в наше время. При этом он не мог бы наверняка сказать, что же должно реально существовать «в наше время». У него не было на этот счет никаких догм...

Дождавшись солнца, Зенкович ушел на пляж и там продремал еще час или полтора на жестком лежаке, с надеждой думая о предстоящем походе. В полдень он отправился на обещанное собрание группы. Здесь он с некоторым смущением увидел Наденьку с мужем и молодого капитана, которого привык называть про себя питомцем Дгацпхаева. Рядом с краснолицым, громогласным старостой сидел черномазый, спортивного вида юноша в фирменной маечке, с замысловатым толстым ремнем на простых болгарских джинсах, отороченных понизу самодельной бахромой. Это был инструктор их группы, профессиональный мастер культурного отдыха, один из кузнецов той огромной кузницы здоровья, что протянулась ныне по всему берегу

Крыма («мы кузнецы, и дух наш молод — куем мы счастья ключи», то ли «счастья мечи»). Инструктор назвался Маратом, просил любить его и жаловать, то есть, держался с ними запросто, ничем не подчеркивая свое исключительное совершенство, выдающееся положение в этой группе мужчин и женщин. Конечно, призыв любить и жаловать его был проявлением излишней скромности, или даже кокетства, — кого же еще было им любить и жаловать как не своего временного начальника, своего предводителя, руководителя и благодетеля, который к тому же оказался таким веселым, молодым и остроумным (призыв любить и жаловать был встречен дружным смехом, свидетельствующим о том, что контакт установлен), который уводил их с турбазы в неведомые, манящие дали...

Инструктор сказал, что завтра утром они отправятся на автобусе на место первой дневки (дневки и ночевки, ах, до чего прекрасны эти полувоенные туристические слова), что все они должны собраться после завтрака, одетые соответствующим образом и что он предоставляет слово старосте, у которого есть для них сообщение особой важности. Староста, многозначительно подмигивая, предложил им сдать по пятнадцать рублей на горючее, по три на дополнительную дорогу, по пять на фотографа и по четыре на культрасходы. Туристы с готовностью полезли в карман. Зенкович проделал то же самое без особого энтузиазма. Во-первых, он не пил, во-вторых, не предвидел никаких экстраординарных культурных нужд, в-третьих, не хотел фотографироваться, а в-четвертых, мог бы обойтись без дополнительной дороги. Он отметил про себя, что расход этот составит большую и непредвиденную часть суммы, ассигнованной им на отдых. Он не мог не отметить также, что среди прочих туристов эти непомерные поборы, кажется, не вызвали никакого смущения. Во-первых, большинство из них бесплатно получило свои путевки или почти бесплатно, так что теперь они искали применения деньгам, ассигнованным ими на отдых и веселье. Люди эти пони-

мали, что большая часть их денег должна так или иначе уйти на пропой, потому что они приехали кутить и сорить деньгами. А главное... Главное... Зенковичу пришло в голову, что столь прекрасная, традиционная скорбь интеллигента по поводу народной скудости — всего лишь милая, благородная, но устаревшая эмоция. Интеллигенты переняли эстафету скудости сами, они не позволяли себе сегодня ни грандиозных попоек, ни новейших автомашин, ни огромных телевизоров, похожих на окно дачного сортира. Представители низшего сословия давно уже могли дать интеллигенту на чай и если порой не давали, то лишь по небрежности, или потому, что верили в пользу бесплатного просвещения и здравоохранения... Отягченный этими размышлениями, Зенкович вынул из кармана двадцать семь рублей и со вздохом передал их мордату старосте.\*

Миновав финансовый Рубикон (ассоциация с рублем здесь чисто случайная, так как во времена Рима иностранная валюта была, как известно, совсем другая), Зенкович стал с нетерпением ждать похода. И в этом ожидании, в предвкушении скорого отъезда все мелкие и даже часть крупных неудобств дворцового помещения (здесь нельзя не упомянуть княжеский туалет на два очка, который теперь должен был обслуживать крупную массу усиленно питающихся туристов) стали казаться Зенковичу менее раздражающими и даже отчасти милыми. В последний вечер Зенкович посетил танцплощадку и, хотя он не

---

\* Здесь автор должен предупредить читателя (прежде, чем окончательно самоустраниться и, отделившись этим предупреждением, уйти в кусты, как Плеханов), что он (Автор) вовсе не разделяет этих взглядов Зенковича, а также прочих его социально-аполитичных или нравственно-аморальных домыслов. Единственная причина, по которой Зенкович, а, скажем, не староста и не девочка Надя, стал по существу главным героем этого (впрочем, как и некоторых других) произведения, та, что человек этот был в описываемую пору наиболее близко знаком Автору — причина, которую многие, может быть, сочтут как неубедительной, так и недостаточной.

достиг там желаемого результата, все же провел время без особого унижения, потому что он больше не был чужим, с ним здоровались мужчины из его походной группы и девушки, а одна из них, по имени Шура, даже пригласила его на белый танец. Это было, конечно, целительно для мужского достоинства Зенковича, хотя и не могло спасти положения, так как Шура ему не особенно нравилась. Зенкович уже совсем было собрался уходить с танцев, когда откуда-то вдруг появилась Наденька и тоже пригласила его танцевать. Наденька возбужденно рассказывала, какие закупки по водочной части производят мужчины их группы к предстоящему походу и что обещает им показать инструктор (она уже звала его Маратик), и как это все будет замечательно. А потом неожиданно, без всякого перехода, она вдруг сказала Зенковичу, что он был неправ, потому что она так много, так много ожидала от этого брака, тем более, что эти люди казались ей такими видными и содержательными, но все оказалось ерундой, даже хуже, чем у ее мамы в Томилино; она с таким удовольствием ездит теперь в Томилино, просто как спасение, а главное — сам Огрызков (эту гордую фамилию носил ее инфантильный супруг), он окончательно не оправдал надежд, казалось, такая страсть, ах, цветы, кино, то, се, а теперь похоже, что ему приятнее играть в шахматы, тогда зачем было жениться, и ни о чем не говорит, даже ночью повернется, потом и уснет, разве это можно назвать браком, о котором мечтают девушки?

Наденька потерлась щекой о щеку Зенковича, а он с неловкостью подумал о том, из какого угла этой чертовой танцплощадки может следить за ними Огрызков своим неприятным взглядом. Еще он вдруг подумал, что если бы знать наверняка, что Огрызков не следит ниоткуда, а просто встретится ненароком на Царской тропе в сумерках... Впрочем, даже в этом идеальном случае мысль о том, что Огрызков где-то внизу и шарит взглядом по склону крымской яйлы в поисках неверной жены, даже тогда, самая

мысль об этом помешала бы Зенковичу благополучно справиться со своей задачей. Так что Зенкович уже собрался сказать Наденьке что-нибудь горестно-неопределенное, что-нибудь печально-романтическое, потому что она все же была очень мила, и синие пустынькие ее глазки и коротенький ее носик были совсем рядом, очень близко от его щеки, он уже собрался вякнуть что-нибудь душераздирающее, когда вдруг отыскал глазами тот самый угол, из которого следил за ними своим неприятным и на этот раз, пожалуй, даже агрессивным взглядом инфантильный юноша Огрызков. И тогда Зенкович сказал Наденьке с решительным благородством, и даже с некоторой торопливостью, что все это невозможно, никак невозможно для него как джентльмена, во всяком случае до той поры, пока они не вернутся в Москву, может быть, там, в городском многолюдье...

Наденька кивнула, закусила губку и сказала покорно-обиженно, что ей ничего не остается другого как...

Чего ей не остается и что остается, он не понял, да и не та была сейчас ситуация, чтобы выяснять нюансы. По окончании танца Зенкович сухо откланялся и ушел с площадки, размышляя о том, что это, в сущности, очень неудобно — то, что они идут в поход вместе. Он решил быть осторожнее впредь и, успокоив себя таким образом, пошел спать в свой перенаселенный княжеский караван-сарай, с тем чтобы встретить завтрашний решающий день со свежими силами. На его счастье в двадцатой палате было тихо: вероятно, зачинщики веселья во главе с капитаном из Краснопролетарского городка перебрались пьянствовать в другую палату... Так или иначе, Зенкович уснул без труда, а проснулся, хотя и рано, но уже по собственной малой нужде, что было гораздо менее обидно и куда более естественно для свободной личности, живущей в условиях развернутого кооперативного строительства. Это последнее условие рассудительный Зенкович и обдумывал, лежа без сна в ожидании первого отчаянного вскрика радио. Он

думал о том, что его так широко и бесшабашно кутившие соседи более, чем он сам, закалены в коммунальном общезитии, ибо даже для самого расточительного из них кооперативное жилье до сих пор представляется непростительной роскошью. Они покупали автомашины, это правда, потому что автомашину ни при каких условиях не могли дать бесплатно, к тому же это был предмет роскоши и удовольствия, а какое удовольствие можно получить от дорогостоящего жилья, за которое платишь сам?

Унылый голос радиста взорвался над койкой Зенковича и пожелал ему счастья в очередной день законного отдыха. Зенкович весело погрозил кулаком серебряному громкоговорителю, подумав о том, что уже сегодня вечером или даже раньше он избавится от культурного обслуживания, а заодно и от всего наследия великого князя: он будет вольной птицей бродить по горам; он закутается в свой собственный, индивидуальный спальный мешок; он будет слушать пение птиц, вместо грамзаписей...

Сразу после завтрака началась долгая и бестолковая предотъездная возня. Уложив в свой гигантский рюкзак одежду, консервы, спальный мешок и привязав к нему сверх того палатку, Зенкович уныло сидел в автобусе и думал о том, как мудро он поступал всю жизнь, отказываясь от путевочных турпоездов, хотя бы даже и заграничных (впрочем, в последнем утверждении была, конечно, с его стороны известная доля лукавства, потому что, как всякий рядовой и малопаскудящий интеллигент, Зенкович подозревал, что в заграничную его, вероятно, и не выпустят). И все же, чисто теоретически — представьте себе дорогостоящие две недели, проведенные в автобусе, в ожидании, пока «собрется вся группа» или пока «староста найдет Петрову и Гришкина». Сидеть, нервничать, смотреть на часы, а когда, наконец появится распаренная Петрова и Гришкин, не успевший как следует застегнуть штаны, восклицать без тени юмора: «Подумать только — опять потеряли сорок минут, надо не уважать группу, чтобы так...»

На сей раз в роли Петровой и Гришкина выступили, как ни странно, Наденька с мужем и сам инструктор Марат. Они явились последними с часовым опозданием и заговорщицки сообщили группе, что все будут довольны, потому что им удалось достать «экстру», а это не каждый день случается в здешней глуши. Краснолицый староста и питомец Дгацпхаева покрыли это сообщение профессиональным «ура» и под этот крик автобус тронулся.

За окном побежали крымские красоты, известные почти всякому советскому гражданину еще по воспоминаниям родителей, и Марат прокашлялся в микрофон. Для начала он пошутил по поводу своего голоса, который еще не восстановлен после трогательных проводов предыдущей группы, а потом сообщил, что они проезжают мимо знаменитой здравницы «Красный купол», в которой уже в первые тревожные дни советской власти отдыхали многие выдающиеся деятели революции, а потом восстанавливали свое здоровье Морис Торез, Гарри Поллит, Индира Ганди, Дзержинский и другие покойные вожди рабочего класса. «Обратите внимание на ценную архитектуру...»

Зенкович обратил и увидел ту же «альгамбру», только зеленого цвета, да еще тесно обставленную поздними произведениями в жанре «наглядной пропаганды». Зеленая альгамбра Зенковича раздосадовала, кроме того его смущало, на своем ли месте была упомянута донине здравствующая Индира Ганди, однако поделить своими сомнениями ему было не с кем. Вчерашняя Шурочка с танцев, занявшая для Зенковича место в углу автобуса, повернулась к нему сейчас и сказала:

— Правда, он симпатный, Маратик? Так все знает, бесподобно. И что характерно, он сюда недавно приехал, раньше на бердянской турбазе работал...

Отыскав глазами Наденьку, Зенкович отметил, что она смотрит на рассказчика так же восторженно, как Шурочка, и, честно говоря, испытал при этом легкий укол ревности. Справедливости ради, Зенкович признал, что положение

инструктора совершенно особое, сходное с положением автора научно-популярной книжки, с неизбежностью выслушивающего неумеренные похвалы своей эрудиции. В лице инструктора сосредотачивались сейчас для туристов и сила руководства, и обаяние всемогущества, и знание этой прекрасной земли, куда он вел их. Он был хозяином этих красот, он открывал их, он знал о них все. По-мужски ревновать к нему было неуместно и бесполезно, потому что он был здесь вне конкуренции. И все же, если учесть Надино положение... Зенкович отклонился вправо и отметил, что Людочка, сидящая на первом сидении, возле шофера, тоже, без сомнения, недурна... А потом автобус проехал Байдарские ворота, и Зенкович забыл обо всех этих более или менее прекрасных женщинах, ибо открывшийся ему крымский пейзаж был безотносительно и бесспорно прекрасен. Кузницы и здравницы стали встречаться теперь реже, к тому же они были закрытого типа, так что меньше были похожи на перенаселенные курятники Ялты. Зато к шоссе подступили нетронутый лес и горы, открылись синие дали просторных заливов — мир становился все прекраснее, и ясно было, что чем дальше, тем прекраснее он будет, и в конце концов их взглядам откроются «ванны молодости», «источники красоты», каньоны, плоскогорья, «древеса любви» и долгожданный пещерный город Кармин-кале... Как все-таки хорошо, что он записался в поход!

Голос Марата, небрежно путая падежи, рассказывал о церкви, возвышавшейся справа на неприступной скале. Если верить Марату (а выбора у них не было), ее построил какой-то русский купец, чтобы умилостивить богов за то, что он якобы чудом остался жив, то есть — произошло чудо, когда лошади внезапно понесли под гору, а купец остался жив, и вот по своим обычаям, поклоняясь разным там христам... Ясно было, что верования русского купца представляются Марату смутно запутанными и неясными, однако же достойными гораздо большего осмеяния, чем вышеупомянутый культ. Зенкович из своего угла спросил, кому

посвящен храм. Марат вопроса не понял и терпеливо объяснил, что купец этот молился разным там богам, христам и монахам, как и все бескультурное дореволюционное население России...

— Да что мы все про грустное и непонятное! — воскликнула золотозубая женщина Маша из Днепропетровска, — давайте лучше споем.

Зенкович давно уже заметил, что разговоры о духовном и непонятном вызывают в простом человеке неутолимую жажду веселья.

Призыв Маши поддержал староста, который был сегодня особенно громогласным и наполнял автобус запахом перегара. Интимно наклонившись к Зенковичу, староста сообщил ему, что как член закупочной комиссии он вынужден был сегодня много пробовать. Кроме того, ему пришлось выпить немного, прощаясь с ребятами из палаты. Стараясь не дышать, Зенкович в немногих словах выразил свое сочувствие старосте и отвернулся к окну. Мимо пробежала роскошь Ласпи и Мухолатки, удивительные горы, леса, бухты... Они вызывали в душе Зенковича бесплодное волнение, и ему казалось, что когда-нибудь в такой вот момент он не выдержит непомерного груза красоты и умрет от разрыва сердца. Или напишет что-нибудь прекрасное, нет, конечно, далеко не равное этому всему, но хотя бы пытающееся приблизиться к красоте этого берега, божьего мира... Однако шли годы, Зенкович не писал ничего такого, но и не умирал, хотя сердце у него болело все чаще и чаще, может, из-за этой вот безысходности...

Марат привычно разделил автобус на две соревнующиеся части и открыл певческое состязание. Марат был профессионал организованного отдыха и твердо знал, что человека, купившего путевку, нельзя бросать на произвол его собственной изобретательности и природного веселья, иначе человек этот станет роптать. Марат знал, что идет ли турист по райской долине или стоит на вершине горы, толпится на танцплощадке или отдыхает после обеда, его

надо охватывать своими организационными усилиями и тогда человек этот не будет жаловаться на скуку, на пренебрежение и на халтурную работу лиц, ответственных за его веселье. Певческое состязание началось в очень энергичном темпе со специфических туристских песен — русской «В огороде, бабка, в городе, Любка...» и украинской «Ты ж мэнэ пидманула...» Обе песни исполнялись не одну тысячу раз за сезон и потому требовали от любого постороннего слушателя крепких нервов, мертвецкого равнодушия или полной глухоты. От исполнителя требовались только энтузиазм и громкий голос (необходимый для того, чтобы перекричать соперников). Зенкович, подстрекаемый нелюбовью к массовому пению и мелким интеллигентским индивидуализмом, упорно хранил молчание, хотя Шура несколько раз оборачивалась к нему, улыбкой и взглядом призывая поддержать ее усилия, а староста даже раз стукнул Зенковича по спине дружески — фамильярно, — мол, давай, не подводи свою подгруппу...

Было спето практически все, что было накоплено членами коллектива за их сознательную жизнь. Из темных недр памяти всплыли кровожадные песни тридцатых годов о том, как «на Дону и в Замостье тлеют белые кости», песня о винтовке, которая бьет по врагу метко, ловко и, конечно, без пощады. Были также исполнены поэтический шедевр Рудермана, воспевающий четырехколесную пулеметную тачанку, песни о мире, о великом друге и вожде, о девчонке с чудо-косой, о Бухенвальде, Маутхаузене, Освенцине, Треблинке, о погибшем парне, о бедной матери, о сверкающем Баку, героической Москве, родном Севастополе, родном Симферополе, родном Мелитополе и, конечно, о родной Одессе, которая знала много горя, о сказочном городе у самого синего моря, в котором и плыл и тонул... Сперва шли высокооплачиваемые и низкооплачиваемые шедевры песенной пропагандистской индустрии, а потом уж пошли, повалили, как из рога изобилия, бесplatные, совершенно бескорыстные поделки туристиче-

ской субкультуры — песни о том, как в пещере каменной нашли бутылку рома, как у тети выбросили через окно чемоданчик и так далее, тому подобное — множество совершенно неведомых Зенковичу, но от этого не более интригующих шедевров, вроде следующего:

Мы туристами родились,  
Мы туристами помрем,  
За туристов выйдем замуж,  
Туристыток разведем...

Туристы пели очень громко, очень бодро, ужасающе жизнерадостно (даже в тех местах, где погибал парень, где маялась его мать или тлели белые кости), пели с задором, с живинкой и с необъяснимым вызовом — кому-то неведомому, но враждебному, тому, кто не пел, или тому, кто посмел бы усомниться в том, что им, поющим, чертовски весело, что они неунывающий туристический, насмешливый и ультрапатриотический народ...

Пение прекратилось только на остановке автобуса, когда Зенкович уже четко сформулировал свою клятву: в следующий раз он пойдет только в компании глухонемых, есть же такие группы при Всероссийском обществе глухонемых, наверняка должны быть, конечно, немые будут толкаться и жестикулировать, но уж петь — вряд ли...

В последнем населенном пункте на пути староста внес в автобус десятилитровое ведро дешевого крепленого вина и объявил, что заготовки кончены полностью. Одобрительно хлопнув Зенковича по плечу, староста вручил ему ведро:

— На, друг, поддержи, тут уже километров пять осталось, а то я опять пробовал... — староста рыгнул.

— Может, вы поблюете на остановке, — предложил Зенкович, мобилизовав весь свой гуманизм, но староста с неодобрением отклонил его предложение:

— Я, друг, никогда не блюю... Рыгаю, это да. У меня кислотность. Мне можно только водку, а я сегодня, видел?

Автобус тронулся. Дешевый портвейн плескался в ведре, издавая мерзкий запах. По временам он своенравно выпле-

скался на брюки Зенковича, и Зенкович обреченно подумал, что теперь он до конца похода будет пахнуть этим портвейном (в просторечьи именуемым «чернилами» или «бормотухой»), так как запасной пары брюк он не взял, надеясь облегчить свою ношу.

Шура обернулась к Зенковичу и сказала сочувственно:

— Не люблю, когда мужчины сильно пьющие.

— Я тоже, — сказал Зенкович сухо: ему не нравился ее рот. У нее были в сущности неплохой нос и неплохие глаза, но рот ее старил. Зенкович попытался отыскать глазами Люду, сидевшую впереди, но в это время автобус тряхнуло, и новая порция портвейна пролилась ему на брюки.

Впрочем, испытание это продолжалось недолго, староста не обманул: они проехали километров пять проселком и остановились на лугу, где Марат объявил высадку десанта.

Зенкович с наслаждением спрыгнул на твердую крымскую землю. Кругом поднимались горы, поросшие кизилом, шиповником и терном. Они манили прохладой и таинственными переходами пещерного города Кармин-кале, до которого теперь оставалось всего два-три километра.

Марат раздал топоры и послал туристов на заготовку леса. Он сказал рубить только сухой лес, но возле кострища сушняк уже был вырублен, так что рубили все подряд. Зенкович тоже отправился в лес, горестно высчитывая, на сколько дней, ночевок и маевок может хватить леса, еще оставшегося на склонах. Трудно сказать, почему это лесохозяйственная проблема должна была беспокоить Зенковича и отчего ему было жаль деревьев. С неизбежностью возникает мысль, что Зенкович был все-таки немножко идеалист, а также чуточку гуманист, самого что ни на есть беззубого толку. Возможно также, что национальные особенности побуждали его к постоянному беспокойству. Не исключено, что это беспокойство толкало его сейчас вслед Люде. Зенкович еще не мог бы сказать наверняка, что ему очень нравится Люда. Просто она была лучше, чем Шура, а



вслед за днем должен был наступить вечер, когда мужское достоинство ощущается несколько более тягостно, чем среди дня, а потом ночь, когда оно становится просто обременительным.

Люда заметила усилия Зенковича и отнеслась к ним не то, чтобы слишком благосклонно, но и без ярко выраженного протеста. Они не сказали друг другу и трех слов — вместе собирали дрова, ели кизил, помогали друг другу выбираться на крутые склоны. Поддерживая Люду, Зенкович отмечал ее приятную полноту и думал о том, что поход может оказаться очень содержательным.

Они вернулись к костру, когда там уже закипало в ведре какое-то варево. Туристы успели ощутить голод и, лязгая зубами, бродили в нетерпении вокруг костра. Дежурные грозились угостить их на славу, а староста уже разливал водку по котелкам. Что и говорить, поход по всем признакам был мероприятием и веселым и полезным.

Марат и Наденька верховодили у костра. Еще в автобусе Зенкович отметил, что инструктор выделяет Наденьку из женской части группы. Что касается Наденьки, то она не могла не откликнуться на это столь лестное внимание и кокетничала с Маратом напропалую. Что поначалу удивило Зенковича, так это поведение ее мужа, который вовсе не пресекал это кокетство, а словно бы даже поощрял его. Во всяком случае, Зенкович не заметил, чтобы инфантильный юноша бросал на Марата неприятные взгляды. По здравому размышлению Зенкович решил, что, в сущности, иначе и не могло быть, потому что это было бы так же нелепо, как если бы, скажем, мать узбекской девочки Мамлакат (знаменитый чудо-ребенок, одним махом усовершенствовавший в тридцатые годы нашего века методику сбора хлопка, пришедшую, вероятно, еще из Древнего Египта) стала бы из каких-то там мусульманских соображений стыдливости возражать против того, чтобы девочка сидела на груди у чужого мужчины (хотя бы и родного-любимого) или обвивала невинными трудовыми ручками его толстую

шею. Ведь мужчина этот был не просто представитель сильной части рода человеческого, он был султаном, богом, небожителем, примерно таким же, каким представлялся сегодня группе туристов ее инструктор.

Зенкович отметил про себя огорченно, что возникновение каких-то неофициальных отношений между Маратом и Наденькой не оставляет его равнодушным. Чувство, зашевелившееся на дне его души, вполне можно было бы квалифицировать как ревность. Однако Зенкович знал, что в случае с Наденькой он поступил правильно и не мог поступить иначе. Это должно было служить ему утешением. Впрочем, неполным. Чтобы успокоить себя окончательно, Зенкович прибег к двум уловкам. Во-первых, он стал оказывать более настойчивое внимание Люде, а во-вторых, достал из рюкзака книгу. Дополнительные знаки внимания Люда приняла со спокойствием, но на книгу реагировала довольно болезненно.

— Зачем же это на отдыхе читать? — спросила она (довольно близко смыкаясь в этом вопросе с точкой зрения врача, лечившего Зенковича в Москве), — голова может заболеть. И так на работе целый год все читаешь-читаешь...

Зенкович спросил ее, что она читает на работе. Оказалось, что на работе она читает какие-то отчетные ведомости, но при этом она много читает зимой после работы, например, она прочла книгу «Дважды разыскиваемый» об успешной работе уголовного розыска. Узнав, что Зенкович не читал книгу «Дважды разыскиваемый», Люда стала относиться к нему несколько свысока, потому что книга эта была про московский угрозыск и уж если она у себя в Конотопе смогла всякими правдами и неправдами добыть эту замечательную книжку, то довольно странно, что он, находясь в Москве на постоянном жительстве... Зенкович оправдывался как мог.

Наконец, начался обед, который длился долго, с двумя перерывами между блюдами и незаметно перешел в ужин.

Солнце спряталось за горы. Стало быстро темнеть. Заметив опытным взглядом руководителя, что физический голод уже удовлетворен и может смениться культурным, Марат предложил провести традиционный вечер «Давайте познакомимся». Староста скромно заржал и похлопал себя по ляжке, но скоро выяснилось, что вечер, предложенный Маратом, был мероприятием вполне пристойным. Туристы улеглись вокруг костра и в такой позе должны были по очереди рассказывать о своих занятиях, о семье, о работе, о своих «хобях» (слово это, с легкой руки прессы, вошло в самый черный обиход). После этого рассказа каждому можно было задать еще три вопроса. Зенкович отметил, что по недостатку взаимного интереса они всей группой не могут наскрести трех вопросов. Еще больше удивило Зенковича, что и его самого никто из присутствующих не заинтересовал, хотя здесь были представители всех слоев общества, от золотозубой кондукторши Маши до подполковника-старосты. Здесь были также (выражаясь языком печати) посланцы всех городов страны. Как большинство переводчиков, Зенкович имел, конечно, не вполне скромные писательские амбиции. Его время, говорил он, еще не пришло, однако оно придет, и тогда все увидят, какой он писатель. Он напишет прежде всего о том, что его волнует как интеллигента, то есть о положении народа. Он вольет в свои произведения опыт своих путешествий по стране и своих собственных бед. Пока же не пробил его час, он будет все глубже проникать в толщу народной жизни... Так он думал и говорил добрые десять минут, и вдруг сейчас, лежа у костра, Зенкович с тревогой обнаружил, что его интерес к положению народа и его нуждам катастрофически иссякает. Его не заинтересовал Машин оклад, так же как и заработки молодого чубатого слесаря Коли. Конечно, им недоплачивают — и Маше и Коле, однако что изменится от того, что Коля будет получать вдвое больше? Ну, купит он мотоцикл, купит большущий цветной телевизор, а то и просто станет пить с большим, с еще большим раз-

махом? Это было несущественно и главное — неинтересно...

Зенкович несколько оживился, когда дошла очередь до питомца Дгацпхаева. Он оказался инженером, причем не просто инженером, а таким, у которого «в приемной по полчаса дожидаются». И притом еще человеком женатым.

Вопросы, которые задавали экзаменуемым у костра, касались главным образом хоби и секса. Ответы были так скучны и однообразны, словно их брали готовыми из будничного номера «Комсомольской правды». Более интересным оказался концерт. Дело в том, что, ответив на все вопросы, экзаменуемый должен был развлечь публику каким-нибудь номером художественной самодеятельности или согласиться на внеочередное дежурство у костра. В этом был, наверное, гвоздь всего мероприятия. Как и ожидал Зенкович, большинство пожелало прочесть стихи Есенина про еще живую старушку или про его хулиганство. Однако были и более яркие выступления. Кондукторша Маша совершенно неожиданно прочла вдруг английское четверостишие из учебника для второго класса средней школы. А весовщица Зина со станции Дарница Киевской железной дороги объявила, что она исполнит плач ребенка. Зина была немолодая и очень истощенная женщина, так что нельзя сказать, чтобы этот номер был ей особенно к лицу. Сам по себе этот плач ребенка оказался отвратительным звуком, непохожим ни на что на свете, в том числе, и на детский плач. Слушая его, Зенкович испытал чувство неловкости и огляделся по сторонам. Туристы напряженно слушали: может быть, им тоже было неловко. Зенкович вспомнил, что такое же представление устроил однажды в Пенджикенте на автобусной станции местный сумасшедший, и все пассажиры от жалости, стыда и неловкости торопливо кидали ему пятаки в тубетейку... Когда Зина кончила свой гундосый плач, туристы дружно захлопали, а староста сказал с пьяной серьезностью:

— Все-таки сохраняется еще в нашем народе настоящее искусство.

Люда прочла стихотворение Асадова, как понял Зенкович, самого пошлого из современных поэтов и, вероятно (именно по этой причине), очень популярного в массах. Прочитав стихотворение, Люда с вызовом посмотрела на Зенковича и, увидев его неискренний энтузиазм, сказала:

— А что, нам очень нравится. Может, конечно, у вас в Москве есть еще что-нибудь...

Зенкович испуганно сказал, что у них в Москве тоже совершенно ничего. Тут пришла его очередь, он опозорился со своим Георгием Ивановым и уполз в тень. Марат вызвал всеобщее восхищение, исполнив с большой серьезностью южную песню, где все время повторялись непонятные слова, вроде «чавэла», «трамбовэла» и еще какие-то, которых Зенковичу вовсе не удалось разобрать.

Туристы стали разбредаться по своим палаткам. Зенкович заметил, что Надин муж ушел спать, однако инструктор и Надя не уходят. Зенкович осторожно спросил у Люды, можно ли ему прийти к ним в палатку, конечно, со своим спальным мешком...

— Приходите, — сказала она равнодушно. — Жалко что ли.

Зенкович обиделся, но ничего не сказал. Он еще долго оставался у костра. Наденька теперь сидела, облокотившись спиной о спину Марата. У костра сонно молчали, когда вдруг разговорился староста-подполковник. Вероятно, он принял как раз ту дозу спиртного, при которой мог разговаривать связно. Обращался он почему-то к Зенковичу и при этом в голосе его был вызов и нотка обиды, точно Зенкович непременно должен с ним спорить и, вообще, задается. Зенкович припомнил, что сегодня днем, принимая на хранение ведро с портвейном, он не сумел изобразить энтузиазм, а главное — потом, перед обедом не поддержал компании.

— Вы не думайте, военный человек так повидал свет, как никто его не видит. Сегодня здесь, завтра — вот тебе в зубы предписание и пошел... Вот, например, в Таджики-

стане мы теперь стоим, так это же дикая страна. Там, можно сказать, еще советской власти нет. У них во всем главное дело деньги. Вот я у одного дома был, в горах, так они, поверите, еще там все сидят на полу. А что они едят? Лепешку какую-то, как бумагу, порвут на части и жрут. Что характерно, женщина там одеться не может по-человечески. Какие-то на ней штаны. Украшения на себя навесят. Зачем это женщине? Возьми ты ситцевое платьице, но чтоб открыто было, да, верно я говорю? Чтоб видно тело, то-вар, как говорится, лицом...

— Женщины, между прочим, пока в гостях у него сидишь, и не показываются. Чай сын наливает. А он сидит, как султан, то подай, это подай... Дети перед ним на цырлах. Жена на цырлах. Ему пятьдесят восемь лет, а у него ребеночку два года. А мне сколько? Вот сколько мне?

— Пятьдесят, — сказала Наденька, словно очнувшись от забытья.

— Нет, сорок пять, — сказала Шура.

— Мне тридцать пять лет... — голос подполковника задрожал от обиды. — Разве я могу этим заниматься? Потому что какая у него жизнь? О чем он думает? У него инспекторская проверка есть? За политучебу он отвечает? ЧП у него есть? А у меня по два в неделю. И еще личные... На того накапали... На этого... — он запнулся. — Из округа начальство приедет, снимет стружку, так даст просрать...

— Фи, — сказала Наденька.

Мысль подполковника сделала неожиданный скачок.

— Много еще у них везде безобразия, — сказал он с трудом оправляясь от обиды. — А все отчего? Оттого что у них советской власти мало и они мусульмане, как и эти вот еще казахи, армяне, грузины... Я там тоже служил... Или эти возьми — поляки. Тоже у них советской власти настоящей нет. У них даже магазины есть собственные. Они католики. Не как наш брат-христиане.

— Католики тоже христиане, — сказал вдруг Зенкович и

замолчал, пораженный нелепостью, абсурдностью своей фразы, произнесенной в пьяной компании, у костра, под звездным небом. Фраза эта, однако показалась обществу достойной обсуждения.

— Нет, католики никак не могут быть христиане, — сказал подполковник. — Вы же помните, что с ними Тарас Бульба воевал?

— Христиане — русские.

Это Марат бросил им крупицу своей эрудиции, продолжая поглаживать Надину ручку, белевшую в отблесках костра.

— Да, христиане — это русские и украинцы, — обрадовался подполковник. — А узбеки, таджики, грузины, монголы всякие — это мусульмане...

Подполковник рыгнул, извинился и снова рыгнул. Зенкович огляделся. Их оставалось только пятеро у костра. Марат и Наденька млели спиной друг к другу. Шура ждала, что кто-нибудь заговорит с ней персонально. Может, она ждала этого от Зенковича. Староста рыгал.

— А вы бывали в этих вот разных местах? — спросила Шура у Зенковича.

— В Таджикистане? Много раз.

— Расскажите...

Зенкович вспомнил горные кишлаки, нависающие над пропастью. Пятна изумрудной зелени над кипящей рекой, улочки, стесненные глиняными дувалами и каменными изгородями, в которые вкраплены резные деревянные двери, такие таинственные, как будто они ведут не во двор обычного дома, а в восточную сказку, в таинственную жизнь муллы и падишаха. Впрочем, и во дворе обычного дома жизнь при всей своей монотонности, была таинственной и полной неведомых европейцу достоинств. Скрытая от чужих глаз, оговоренная спасительными обрядами и запретами, она, кажется, устояла перед цивилизацией, приносимой сильно пьющим культуртрегером — подполковником. Ей не нужно было заново учиться ни жадности, ни

чинопочитанию, ни карьеризму — она приняла их новые формы и усугубила их, сохранив при этом свое, неутраченное. Она не раскрывалась чужаку полностью, лишь делала вид, что она с ним заодно, сохраняя при этом все, что казалось ей существенным сохранить — обрезание или шелковые штаны на женщине, размеренное чаепитие или родственные связи... Зенкович любил многочасовую дремоту за дастарханом, немногословные беседы со стариками, придорожные чайханы, улочки и старые мечети Хивы, Бухары, Урметана, кишлаки Каратегина, Памира и Дарваза...

— Вы изучаете там жизнь? — спросила вдруг Шура, и Зенкович машинально ответил:

— Да.

Ответил, как отвечал много раз, и впервые задумался над своим ответом. А задумавшись, тут же понял, что путешествия его вовсе не были средством изучить жизнь, а были скорее бегством от жизни. Он прятался в эту экзотику и таинственную непонятность чужой жизни от собственных семейных неурядиц, от издательских неудач, от политических новостей и главное — от необходимости решать что-либо. Вполне вероятно, что здешняя жизнь таила в себе те же сложности, изобиловала теми же передрыгами, что и московская жизнь, однако это были не его сложности, они не видны были на поверхности и не волновали его, к тому же проявления их были столь отличны, что вечное, незыблемое спокойствие чудилось ему здесь во всем, а собственные его хлопоты и невзгоды начинали казаться несущественными, ничтожными...

Шура ждала рассказов Зенковича. Уголки ее рта были скорбно, по-старушечьи опущены...

— Пойду спать, — сказал Зенкович. Он понял, что ему не пересидеть Марата и Наденьку, что он побежден, что у него нет их энтузиазма, их напора, их силы, что он уходит со сцены, как ушел инфантильный Огрызков, Наденькин муж, с той разницей, что уходя, он не питает огрызковских иллюзий на платоническое завершение флирта, не

питает никаких иллюзий вообще... И все же, подходя к палатке, Зенкович ощутил настоящую потребность в иллюзии, напомнившую ему золотую пору его супружества. И он сказал себе, что вряд ли что-либо существенное может произойти между этими двумя. Во всяком случае здесь и сейчас — когда муж спит рядом, а завистливое око всей женской половины группы... Из того же опыта золотой поры Зенкович знал, что чем абсурднее утешение, тем оно действенней. Поэтому он без большого труда нанизал цепь абсурдных аргументов, все как есть «контра» (не зря же он все-таки так долго жил в браке) и мгновенно успокоился.

Он вытащил на улицу спальный мешок и лег за палаткой. Ясные звезды сияли над ним, теплые, почти одушевленные, почти живые глаза ночного крымского неба. Трудно было поверить, чтоб они оставались равнодушными к жизни двуногих, населяющих этот подзвездный мир. Они наверняка видят костер и Наденьку, млеющую в его отблесках. Они видят палатку, где храпит Огрызков. Спальный мешок, в котором съежился Зенкович, — вот же они заглядывают ему прямо в глаза... Они видят перенаселенный княжеский дворец и все густонаселенное побережье изгаженного моря, до самой Ялты. Они видят шлюшек на ялтинской набережной, не попавших сегодня в общество югославских штукатуров и потому небрежно охмуряющих русского моряка. Сквозь пелену грязного дыма они видят огромную Москву и комнату, где спит, разметавшись, его несравненный красавец-сын. Видят деятелей труда и культуры, кующих духовные и прочие ценности, среди них бывшую жену Зенковича, наставляющую рога своему новому мужу (картина эта показалась Зенковичу забавной, однако не возбудила его, и он пошел дальше). Бесчисленные звезды видят его любовниц — каждая из них ловит свой кайф в меру своих способностей и удачи. Звезды видят одинокую машину на кольцевой автодороге, кладбищенскую стену и уголок за стеной, где лежат его, Зенковича,

родственники и приготовлено место для него самого, для его последней ночевки и дневки — под теми же звездами...

Зенкович прислушался. Ему показалось, что какая-то женщина хихикнула. Или всхлипнула. Более того, ему показалось, что это была Надя. Зенкович беспокойно заворочался в мешке. Полотняный вкладыш сбился в кучу где-то у него в ногах. Стало холодно. Зенкович внимательно вслушивался в ночные шорохи. Отчаявшись уснуть, он выбрался из мешка и пошел вдоль палаток. У костра никого не было. Зенкович вспомнил, что во второй палатке с краю спала Люда. Он приподнял полог палатки, позвал ее. Никто не ответил. А вдруг это не та палатка? Зенкович снова шепнул, вежливо и пристойно:

- Люда... Людочка...
- Ну что?
- Я к вам.

Люда не закричала, не позвала на помощь, и это ободрило Зенковича. Он втащил в палатку свой спальный мешок и долго, неуклюже возился, пытаясь всунуть в него ноги. Потом он откинул руку и как бы ненароком положил ее на Людино плечо. Люда скинула его руку довольно резко и вздохнула.

— Рассказали бы чего-нибудь, — сказала она. — Теперь все равно не усну...

— О чем тебе рассказать?

— А про кино, например. Я люблю ходить в кино.

Ах, кино-о-о... Кино. Великий наркотик нашего века, услада и простодушных и утонченных, искусное варево массовой культуры. Оно претендовало ныне на внимание элиты, оно бывало усложненным и малопонятным, оставаясь по существу все той же забавой, склеенной из пленки. У Зенковича тоже были в кино свои кумиры и свои боги, по десять-пятнадцать раз ухитрялся он увидеть на закрытых и полузакрытых переводческих просмотрах излюбленные свои шедевры сентиментального Феллини, утонченного Бергмана, изощренного Алэна Рене и осатаневшего от тос-

ки Годара, по многу раз смаковал изыски Висконти, импотенцию Антониони и экзотические страсти Куросавы...

— Вот вы такое кино видели — «Персональное дело»? — спросила вдруг Люда.

— Студии Довженко? Нет, не видел.

— А «Черный чулок»? Это арабское. Лучшее на свете кино — индийское и арабское...

Зенкович стал очень осторожно, издали объяснять Люде, что они смотрят разное кино, разные фильмы. Он заговорил о трудности режиссерской профессии, о засилии коммерческого кино в мире. При этом он маялся, ибо знал, что она не видела за свою жизнь ни одного хорошего или даже приличного фильма. И не увидит. А если увидит, то не поймет, не оценит, уйдет с середины сеанса, будет требовать жалобную книгу... Зенкович начал объяснять ей это очень осторожно, но Люда не дала ему кончить.

— Конечно, мы не такие, как вы, там в Москве... — сказала она уязвленно и напористо. — Где уж нам? У нас, конечно, другие люди живут, провинция, но это простые советские люди, которые честно строят. Не то, что среди артистов, такой разврат...

— Какая разница, Москва, не Москва, в Москве ведь смотрят то же самое... К тому же, я не артист... — обреченно оправдывался Зенкович. И вдруг замолчал. Он услышал где-то совсем рядом с палаткой, знакомое рыгание. Ошибки быть не могло. Это был староста. Рыгнув особенно убедительно, он сказал какому-то собеседнику, видимо, питомцу Дгацпхаева, инженеру из Москвы, усердно потреблявшему с ним в тот вечер запасы водки:

— Тут где-то Людка спит. Кругленькая такая, из Конотопа. Сейчас бы в самый раз палочку...

— А ты это... Рукой... Рукой пощупай.

Зенкович обмер. Здоровущая лапа подняла полог и стала щупать ему икры через спальный мешок.

— Кого-то нащупал, — сказал староста и рыгнул. — Кругленькая...

«Сейчас он обнаружит меня и будет скандал, — подумал Зенкович, обмирая от страха и унижения. — Ради чего я здесь? Почему я здесь? И с чего он взял — у меня же тощие ноги...»

Зенкович пошевелился, хотел сбросить лапу, добравшуюся ему уже до колена.

— Тихо лежите, — сказала Люда вполголоса. И вдруг заголосила по-базарному. — Да что же это такое? Отчего же вы это спать людям не даете?

Вопль ее подхватила в соседней палатке кондукторша Маша. В голосе Маши были обида и напор обойденной женщины. К тому же она была, видно, закалена в троллейбусных склаках.

— Нажрут, коблы несчастные! — орала она, не обращаясь ни к кому лично и чествуя всех мужчин на свете.

— Ланно... Ланно... — сказал староста примиряюще и рыгнул уже в некотором отдалении.

— А я пойду к своей Катюше... — сказал инженер слезливо. — Ка-тю-ша...

Стало тихо. Зенкович с благодарностью погладил Людино плечо, но она снова очень резко сбросила его руку.

«Зачем я здесь? Что мне здесь нужно?» — тоскливо думал Зенкович.

Из Людиного мешка теперь слышалось посапывание. Она спала или просто делала вид, что спит. Зенкович вместе со своим мешком выкатился из палатки, дополз до ближайшего куста, повернулся там на спину и долго, в безысходной тоске смотрел на всевидящие звезды... Он понимал, что они не могут испытывать к нему сострадания. Он и сам не был уверен, что заслуживает его.

\* \* \*

После завтрака Марат построил группу и повел ее вверх, на плоскогорье, где высилась в древности столица государства елеонитов город Кармин-кале. Город размещался

некогда по всей длине горного мыса, нависающего над кудрявой долиной. Надземные его постройки давно погибли в перипетиях бурной крымской истории, зато уцелели многочисленные пещеры, выбитые в мягкой породе, так что сегодня от обширной столицы и могучей крепости древнего государства осталась только их подземная часть — таинственный пещерный город, словно бы отодвигавший и без того древнее обиталище елеонитов (чуть не IV век нашей эры) еще дальше, в седую непроглядную древность.

Сообщение Марата о древнем городе было немногословным и не внушало Зенковичу доверия. Марат сказал, что здесь, на этой горе, елеониты устраивали свои битвы и пиршества, а в пещерном монастыре поклонялись своим богам. При упоминании о богах с неизбежностью возник спор.

— Вы говорите, они были греки, — горячо сказал опохмелившийся инженер из Москвы. — Значит, они поклонялись Зевсу и Гераклу.

— Если Гераклу, то значит и Антею, — вдруг подал голос подполковник.

— Да, значит Антею, — поддержал инженер. — Это на политзанятиях проходят.

Марат не стал углубляться в теологические дебри.

— Что характерно, — сказал он, — это что учеными был найден подземный ход, соединявший этот монастырь с женским монастырем...

— А где был женский монастырь? — томно спросила кондукторша Маша. Может, после вчерашней одинокой ночи ей импонировала мысль о женском монастыре.

— Вон там... — Марат неопределенно указал вниз, в зеленое море долины, где возвышался второй такой же мыс. Туристы опасливо выглянули за край пропасти.

— Да-а-а... За семь верст киселя хлебать, — сказал староста.

— Захочешь — полезешь, — сказал Марат.

Наденька шутливо шлепнула его по руке, а кондукторша

Маша восхищенно цокнула языком:

— Вот это мужчины!

Зенкович с тоской подумал, что нет, наверное, в России мужского монастыря, под которым не искали бы ныне подземного хода, ведущего в женский. Монахи представлялись экскурсионной массе еще более похотливыми, чем культ-массовики или инструкторы туризма...

— Скажите, а у вас тут есть памятник героям Гражданской войны? — спросила весовщица со станции Дарница Киевской железной дороги.

— Вот именно, — спохватился староста. — И главное — памятник героям Отечественной войны. А-то монахи монахами, но мы можем главное проморгать...

— Эти памятники у нас установлены, — спокойно сказал Марат, — и притом в очень значительном количестве.

— Скажите, а в этих памятниках у вас исполняется реквием? — строго спросила кондукторша Маша. — Вот у нас в городе...

Марат был готов к этим вопросам: экскурсанты непременно задавали их как только заходила речь об этих проклятых церквях или о чем-нибудь подобном.

— Да, товарищи, — сказал Марат торжественно. — В некоторых из этих памятников обязательно исполняется реквием и горит вечный огонь, поскольку новая нитка газопровода соединила наш Крым со знаменитым месторождением природного газа...

Зенкович без труда припомнил, что он слышал уже такие вопросы в новгородской Софии и в Киево-Печорской лавре. Как правило, вопросы эти задавали с надрывом, с обидой. Может быть, экскурсантов пугало количество еще не окончательно развалившихся, не разбитых, а местами даже восстанавливаемых древних церквей. А может, все было сложнее и проще: может быть, это хрупкая человеческая плоть протестовала против незыблемой прочности никчемных и даже вредных культовых сооружений...

— Отсюда, товарищи, — сказал Марат, — елеониты ли-

ли на головы врагов кипящую смолу. Так что, это, как видите, была неприступная крепость, которую много раз завоевывали татары, пока, наконец, государство елеонитов не пало. После осмотра бастионов мы спускаемся вниз и той же тропой идем обратно. А теперь пройдем вот сюда и встанем для фотографирования.

Зенкович задержался в пещере, таившей вековую прохладу. Когда последний экскурсант исчез за краем стены, тишина привычно вернулась в монастырь... Зенкович решил, что он еще вернется сюда один и послушает тишину, не оскверняемую глупыми шутками и безграмотными рассказами.

Пока же он должен спешить вдогонку своей группе, которая двинулась в обратный путь. Староста крикнул, что обед уже готов и надо спешить. Тропинка была крутая. Туристы цеплялись за кусты на спуске, — выручали друг друга, громко перекликались в таинственном и сыром лесу. Ими овладело чувство солидарности, и каждый думал с опаской, что одному бы ему, пожалуй, отсюда не выйти. Зенкович пробежал мимо Наденьки, заметил, что она прихрамывала и опиралась на плечо Марата.

Наконец лес расступился, показалась долина, стали видны их лагерь и дымок костра. Они одолели спуск. Победа! Зенкович отпустил Шурину руку: ему больше не нужна была помощь. Он остановился в сторонке, пропуская группу: ему необходимо было уклониться с дороги по малой нужде, и, пропустив последнего туриста, он не спеша пошел в сторону по косогорю. Поляна, поросшая цветами, мягко пружинила под ботинками. Зенкович встал за деревом и неторопливо справил нужду. Потом рассеянно поднял взгляд и обмер. Он даже не сразу осознал смысл того, что представилось его взгляду. Первым было состояние шока и сознание того, что с ним случилось что-то весьма неприятное. Позднее он стал различать детали открывшейся ему картины: смуглый зад инструктора; Надины вышитые джинсы и синие кеды; белые Надины пальчики на чер-

ном затылке Марата. Поначалу видение это словно бы расплывалось и дрожало в горячем дневном мареве. Затем Зенкович с определенностью различил, что зад инструктора движется и Надины кеды вздрагивают ему в такт... Зенкович хотел уйти, но обнаружил, что ему не так легко оторваться от этого зрелища. К тому же он боялся, что наделает много шума и его обнаружат... В конце концов он все-таки собрался с силами, круто повернулся, как испуганный лось, и побежал прочь сквозь чащу. Сердце стучало, и его пришлось долго успокаивать дорогой. «Ну и что? — говорил Зенкович своему глупому сердцу. — Что случилось? Что нового? Такого, чего бы ты не знало раньше?»

Зенкович не подходил к костру до тех пор, пока его не кликнули обедать: ему казалось, что все должны знать, что он знает, что по нему сразу видно, что он видел... Между тем, никто не видел ничего и все вели себя совершенно спокойно. Конечно, и кондукторша Маша и весовщица со станции Дарница Киевской железной дороги, и другие женщины заметили столь долгое отсутствие Наденьки и Марата, однако они и без этого давно поняли, к чему идет дело, так что не видели в этом отсутствии специального повода для волнений. Больше всего Зенковича смущал инфантильный Огрызков. Зенковичу казалось, что он-то уж не мог не заметить, как странно эти двое вдруг вышли из леса в конце обеда, как фальшиво приветствовали они честную компанию и рассказывали о страданиях Наденьки, у которой стерта нога. Однако Огрызков не замечал ничего и Зенкович, снова вспомнив золотую пору своего брака, успокоился. Ну да, конечно, он ведь тогда тоже был единственный, кто не замечал ничего, вернее замечал у всех, всюду, но не у себя дома... Откуда же этому молодому...

После обеда, когда Марат вдруг спросил бодро.

— Ну что, еще не вконец ухайдакались? А то могу показать еще одно за-аамечательное место вон там, на горе — такой вид, просто Сочи.



И когда все стали расходиться по палаткам, не выказывая никакого энтузиазма увидеть Сочи. И когда Наденька, несмотря на стертую ногу, резво вскочила и крикнула:

— Я! Я! Возьмите меня!

И когда Огрызков было потянулся за ней, но потом сел намертво и спросил:

— Никто в шахматишки играть не будет?

В этот острый момент Зенкович почему-то больше всего был обеспокоен тем, что Огрызков вдруг догадается и разгорится скандал. Что он пойдет с ними третьим смотреть Сочи и окажется в ложном положении. Больше того — увидит за кустами смуглый зад инструктора и знакомые Надины джинсы и ее кеды, качающиеся в такт заду...

И тогда Зенкович закричал в испуге:

— Я! Я! Я буду играть с вами в шахматы!

Они уселись за шахматы, но Зенкович то и дело поднимал взгляд к склону горы, по которому ушли инструктор и Надя, а потом опасливо косился на Огрызкова: не перехватил ли он, не дай бог, этот невольный взгляд. А так как Зенкович и без этих треволнений играл в шахматы довольно посредственно, то сейчас он проигрывал напропалую и проиграл подряд четыре раза. На вопрос подобрешего Огрызкова: «Ну что, хотите еще?» — Зенкович сказал поспешно и умоляюще:

— Да, да, еще, пожалуйста, я игрок, конечно, паршивый, но люблю это дело, чертовски люблю...

— Шахматы — дело верное, — сказал Огрызков, и Зенкович взглянул на него подозрительно: что это он имеет в виду? Что верное дело, а что не верное?

Но Огрызков, скорей всего, ничего не имел в виду, кроме того, что сказал. Он был долговязый недоносок-переросток, он любил шахматы и снисходительно смотрел на бедного неумеку Зенковича, а после шестого выигрыша вдруг спросил:

— Мне показалось, вы там что-то читали по-французски?

— Да, роман Тардые, — сказал Зенкович, с облегчением

отодвигая шахматы. — Вы читали Тардые?

— Мой любимый писатель, — сказал Огрызков. — Я специально из-за него допуск получил в спецхран... Я даже курсовую писал по Тардые.

— Зачем же? — удивился Зенкович. — Ведь вам нужно было его ругать, наверно, как это называется, уже забыл... Разоблачать. Как пессимиста. Как педераста. Как отзовиста...

— Ну и что же, — сказал Огрызков. — Зато я получил допуск и мог читать его в любое время. И теперь могу.

— Вам виднее, — сказал Зенкович и вдруг испугался, что разговор может оборваться на этом, а тогда Огрызков, упаси боже, взглянет вверх по склону и там что-нибудь... Или пойдет наверх прогуляться, скажем, по той же нужде — и тогда...

Зенкович заговорил о страхе Тардые перед предательством: все его герои одержимы этим страхом, потому-то они боятся завязывать дружеские и любовные связи, присоединяться к группе или к идее; поэтому они так одиноки...

— Да, смешная идея, — сказал Огрызков, и Зенкович понял, что ранимые герои Тардые с их страхами чужды инфантильному Огрызкову. Этот мальчик не боится предательства и даже не представляет себе, как можно его предать... Может быть, даже в том случае, если бы загорелые ляжки инструктора предстали перед ним в интимном обрамлении Надиных джинсов, он продолжал бы говорить о буржуазных паникерах Тардые со спокойным превосходством выпускника института, ведающего международными связями...

Сильно пьющий питомец Дгацпхаева подошел к ним, послушал с минуту их разговор и предложил Огрызкову партию в шахматы.

— Я вот тоже нынче после обеда читал одного француза, — сказал он, расставляя фигуры. — Как же его? Проспер? Мольер?

— Проспер Мериме? — спросил Огрызков.

— Может быть... Но какая, извините, тоска. Зачем только издают подобные книги? Люди хотят развлечься, культурно отдохнуть...

— Если Мериме, то это не скучно, — упрямо сказал Огрызков.

— Катюша! — крикнул инженер. — Как там этого? Которого я читал?

— Фолкнер, — отозвалась Катюша. — Ульям.

— Фолкнер, да, Фолкнер, ваш ход...

— Фолкнер — это американец, — победоносно сказал Огрызков. — Ваш ход...

Сдав вахту пьющему инженеру, Зенкович пошел прочь, в горы. Дорогой он думал о бедняге Ульяме. О том, что книга попадает в руки этим людям в качестве ненавистного учебника, политической брошюры, обязательной для прочтения, или развлекательного чтива. Иной литературы они и не могут себе представить. Литература не нужна массам, не служит им, да и вообще им неизвестна... Любые игры в массовость литературы (кстати, они уже кончены и хорошая книга напрочь исчезла из широкого обихода) всегда обман. Литература как служила, так и служит «скучающей героине...»

Увлеченный этими своими сектантскими измышлениями, Зенкович ушел довольно высоко в гору. Поднял голову и вдруг увидел совсем рядом, в просвете между кустарниками, одну из пещер Кармин-кале. Зенкович пошел быстрее, поднимаясь все выше, выше, и вот он уже был один в древнем городе... Вот здесь у них была, наверно, базарная площадь — шумели обозы, кричали ишаки, верблюды, ржали кони, гомонили греки, финикийцы, караимы, татары... В этом ряду торговали гончары, медники, ювелиры, предлагали свои услуги комедианты и живописцы, здесь торговали вином, чесноком, виноградом, перцем, пряностями. Может быть, поэт бродил здесь среди остро пахнущих базарных стоек, замечая то острую шутку, то новое непристойное слово, сетуя на упадок нравов у современников,

знаменитый Феодор, блистательный Феодор. Трижды возвышенный и дважды сосланный правителем, еще ни разу не распятым и даже признанным...

У него была своя аудитория, пусть небольшая, но достаточно компетентная, чтящая его и читающая. Был кусок хлеба, а по временам и обильный стол и возлияния у щедрого хозяина — как жаль, что угощение это нельзя уволочь с собой, разделить на неделю, чтобы спокойнее писалось... У него были друзья (пусть совсем немного), были противники и недоброжелатели (чуть больше), были оппоненты. Среди них был этот малоприятный, но совсем неглупый философ-еврей Бенцион, угораздит же человека родиться с такой внешностью и вдобавок еще евреем, сколько бы ни уверяли хозяин и все гости, что им это почти безразлично, он-то сам должен был чувствовать, что он никогда не сравняется в благородстве с природным елеонитом, этот смешной, кургузый Бенцион, похожий на цыгана...

Феодор проходил по гончарному ряду, вовлекаемый в споры, дразги и веселье мастеров, равный среди равных, елеонит среди елеонитов, такой же, как они все, и все же не такой, все же другой, словно бы живущий еще и в другом измерении, смотрящий на них и на себя самого, вовлеченного в их игры, со стороны, там в стороне обдумывающий и обкатывающий в слове (где оно, это вчерашнее слово, о которое споткнулся по пьянке?) то, что происходит с ними и с ним, с тем другим, который ходит и говорит, а не с этим, который думает и мучит себя, и продает жизнь за слово...

...Зенкович дошел до края пещерного города, зашел в темное прохладное подземелье. Что здесь было — храм, хлебный склад или хлев? Над мертвым городом витал аромат тайны. Столетия освещали эти камни, делали их прекраснее, вселяли в них душу. Уж, наверное, будь он построен сегодня, этот подземный хлев не наполнил бы сейчас Зенковича такую тоской и волнением...

Зенкович прошел через кельи пещерного монастыря, стоял в алтаре храма. Это было поразительное место. Тысячу лет назад христианин древности вымаливал здесь спасения, твердости в истинной вере, спокойствия. Он каялся в своих грехах, своем ничтожестве и несовершенстве. Точь-в-точь, как это делает сегодня Зенкович, человек из века безверия. Может, он делал это более истово, более убежденно, а может, точно так же, раздираемый сомнением. А потом уходил, просветленный, унося загнанное внутрь смятение...

Закатный луч позолотил густую шерсть леса в долине. Краски потускнели. Стало смеркаться. Зенкович понял, что надо идти вниз, иначе он рискует потерять дорогу.

В гуще зарослей, на тропе, было уже совсем темно. Зенкович шел, спотыкаясь, и почувствовал большое облегчение, когда разглядел внизу, сквозь заросли, огонек туристского костра.

Еще издали он услышал веселые крики, а подойдя ближе, убедился, что у костра сегодня и впрямь царило веселье. Надя и Марат исполняли шейк, остальные хлопали в ладоши, что-то выкрикивали. Староста подошел к Зенковичу с котелком и ненавязчиво предложил:

— Водочки выпьешь?

Когда Зенкович отказался, он выпил сам, мирно добавив:

— Мы люди не гордые, нам больше достанется.

— Вам, наверное, уже досталось много, — сказал Зенкович и тут же пожалел о сказанном. Какая ему разница, сколько они выпьют, что съедят и что будут читать. Вон как им весело, вон как скачет освобожденный от излишков спермы инструктор, ба, да и этот тоже стоит, Огрызков, наверное, он выпил свою долю спиртного и забалдел, что же, тем легче для Нади и Марата, они уложат его спать... В нем все же есть что-то противное, в этом юноше, с какой легкостью берется он разоблачать своего любимого Тардье, чтобы получить право читать его.

Зенкович нацедил какао в кружку, отошел в сторону и присел на бревнышко. Черт, отчего все-таки он не танцует, так и не научился танцевать? Отчего он не может выпить как следует, веселиться, как все люди, безудержно, без задней мысли? Ведь он был нормальным ребенком, потом резвым юношей, откуда в нем эта нынешняя ущербность? Ну, а почему, собственно, он должен разделять общее веселье, общий энтузиазм? Воспоминание о сегодняшнем спуске, о веселых криках на тропе вызвало у него легкий укол стыда. Почему он должен позволять себе это? Разве он недостаточно взрослый человек, чтобы вовремя взглянуть на себя со стороны? Разве у него нет своих собственных мерок, своих критериев подлинного достоинства? Они пьют... Это не ново для него. Они всегда напиваются, увидев церковь или прекрасную картину, оказавшись в окружении природы. Невысказанная тоска, томление необъяснимой красоты побуждает их к пьянству, он замечал это не раз. Они начинают пить и отвратительно петь, чтобы заглушить зов прекрасного. Впрочем, пить они начинают по всем поводам — в горе и в радости, в будни и в праздник...

Кто-то тронул его за плечо. Зенкович обернулся. Это была Шура. Он вгляделся в нее внимательно. Она выпила, щеки ее зарделись, и она словно помолодела. Фактически она и была не старой, лет на двенадцать-пятнадцать моложе его самого, просто этот брючный костюм краматорской швейной фабрики придает ей безвозрастность. Одежда, да еще этот сухой, скорбный рот...

— Вы нисколько не пьете, я вижу... Ну хоть для компании...

Зенкович постарался быть учтивым, поднял какао, сказал:

— Будем!

— А я уже выпила!

— Я вижу... — сказал Зенкович и, устыдившись, тут же добавил. — Вам идет.

— Пойдемте к нам в компанию.

Зенкович поклонился:

— Спасибо. Как только поем...

Она ушла к огню. Там староста кружил хоровод. Лицо у него было пунцовым. Зенкович подумал, что от таких доз спиртного у старосты должно сильно повышаться давление. Когда-нибудь его сердце или его будка не выдержат и лопнут. Впрочем, это будет, вероятно, уже после того, как окончательно сдаст сердце Зенковича, как знать... Об этом знает один господь, и разве это не достаточный довод для того, чтобы верить в него безусловно?

Староста споткнулся, тяжело упал, хоровод рассыпался. Зенкович видел, что бедняга-подполковник отполз к кустам и там выблевал. «Обманул, подлец, — обиженно подумал Зенкович, которому это зрелище подпортило ужин. — Клялся, что только рыгает. Знал бы, не смотрел...»

Однако Зенкович был вознагражден редким зрелищем человеческого мужества. Староста отер рот и вместе с питомцем Дгацпхаева пошел наливать по новой. «Гвозди бы делать из этих людей...» Зенкович видел, как Наденька и Марат провели под руки к палатке пьяненького Огрызкова, уложили его на спальник. «Гвозди бы делать из этих блядей...» Инструктор помог Наденьке подняться с колен и повел ее в кусты. Она шла сзади, цепляясь за его рубашку. Потом вдруг остановилась и сказала что-то по-пьяному громко, неразборчиво. Может быть, сказала, что ей жаль Огрызкова. Скорей всего, упрекнула Марата в том, что он слишком крепко обнимал Люду во время игр и танцев. В общем, это была сцена. Они должны были объясняться, потому что у них было все не просто так — сблизись с пути, переспали — у них было «по-серьезному», у них это было «серьезно». А серьезно — это не просто так. Серьезно — это, когда очень хочется (по песенной терминологии, они «обмирают», «замирают», в худшем случае

даже «умирают» — тогда уж это наверняка л-л-любофь). Или когда хочется, но по каким-то причинам (ревнивый муж, классовое неравенство, феодальные предрассудки) долго не получается. Когда это серьезно, неприменимы низкие слова и понятия, изобретенные мещанами и филистерами. Когда это серьезно, все можно и все дозволено. Конфликты классической драмы смехотворны и не работают даже на провинциальной сцене, дозволено все, даже то, что не дозволено было усатым и белокурым бестиям, старшему и меньшему брату. Потому что эта штука посильнее, чем Фауст у Гете, чем фаллос у Гейне, чем сам Создатель, ибо она побеждает смерть даже в ученических опытах нашего Алексей Максимыча... Итак, у Марата и Наденьки было серьезно, они объяснялись. А поскольку это было настоящее чувство, оно одержало верх над пьяною склокой, и они пошли в кусты...

Зенкович подумал, что он мог бы побаловать себя еще одним зрелищем в духе бергмановского «Молчания» или других излюбленных шедевров западного кинематографа. Однако на сегодня он уже был сыт по горло. Он вытащил спальник мешок, разложил его в кустах, поодаль от палатки, лег и стал смотреть на звезды...

Чей-то всхлип донесся с горы. Может быть, это Наденька изнемогала от мужской силы инструктора, поддержанной крымским портвейном. Вероятно, все-таки надо было пойти за ними, а когда-нибудь написать. Лавры Бергмана не давали покоя Зенковичу...

Невдалеке затрещали кусты. Кто-то плутал в темноте, теперь уже совсем близко. «Только бы на голову не насали», — подумал Зенкович. Это, пожалуй, женщина. Судя по тому, как она сморкается. Все же лучше побережься: береженный угоднее богу и удобнее для людей... Зенкович не выдержал, слегка присвистнул. Шурин голос пьяно сказал из темноты:

— Я так и думала, что вы здесь...

Зенкович прислушался к себе и обнаружил, что в нем нет отвращения. Для начала неплохо. Больше того, он был полон снисхождения к ней. За то, что она пришла потихоньку от всех. За то, что у нее хороший вкус и она выбрала джентльмена. За то, что она все-таки избавила его от одиночества. От горькой возможности вслушиваться в дальние шорохи ночи.

— Иди сюда, — сказал Зенкович и подвинулся.

Шура забиралась к нему в мешок, смущенно хихикая и бормоча:

— Только вы не подумайте, что я какая-то... У меня этого никогда... В общем, для меня это трудное дело, не то, что для некоторых...

— Да, да, я все понимаю... — терпеливо и мягко сказал Зенкович. — Я о тебе плохо не подумаю. Тебе не стыдно будет смотреть мне в глаза. Я не подумаю, что ты так со всяким — ведь я не всякий, верно? Что там еще?..

— Да, да... Правильно... — бормотала Шура. — Вы такой умный...

Зенкович стянул с нее спортивную рубашку, аккуратно расстегнул лифчик и отметил, что у нее неплохая грудь и гладкая кожа.

Шура задышала чаще.

— Ты красивая, — деликатно сказал Зенкович, а потом подумал, что она и правда — недурна, вот так в тесноте мешка, во мраке. Если бы она была в десять раз красивее, это немного изменило бы сейчас.

Конечно, она была проста и безыскусна, другими словами, неласкова.

— Вы мне очень понравились, — сказала она со значением. А потом добавила:

— Только, пожалуйста, не спешите.

Зенкович хихикнул. При этом он отвлекся от цели, утратил контроль над собой и действительно заспешил.

— Поспешешь людей насмешишь... — сказал он, с трудом отдышавшись.

— Ладно, ничего, — сказала она. — Ничего, в другой раз...

— Не сердись, — сказал он, погладив ее ласково и подумав, что другого раза нынче не будет. — Все еще будет у нас... будет... будет...

Он услышал пение ночной птахи и стал погружаться в сладкую дрему. Не будь даже вчерашнего недосыпа и нынешних прогулок по горам, он все равно провалился бы в дрему. «Только бы не стала будить, не стала теревить меня...» — была его последняя мысль. Но она лежала, не шевелясь, слушала его неровное дыхание...

Среди ночи он проснулся, ощутив, что она положила руку ему на грудь, туда, где сердце.

— Плохо стучит, да? — сказал он. — Аритмия... Экстрасистола...

— Спи, милый, — сказала она. — Спи.

Зенкович проснулся от каких-то воплей в кустах. Он подумал сперва, что они порождение его сердечной боли, прислушался.

— Три-четыре, — произнес рядом бодрый голос Марата.

По счету «три» нестройный хор хрипчатых и визгливых голосов протяжно завопил:

— Ви-и-ктор! Ви-ктор! Ви-и-и-ктор!

Потом надрывно и отчаянно крикнула одна женщина:

— Ви-и-итька! Кобель!

Шурочка торопливо шепнула на ухо Зенковичу:

— Пропал кто-то. Москвич пропал. Инженер этот. Мне надо бежать... А то придут. Искать будут.

Зенкович сделал вид, что еще не совсем проснулся: он не хотел сейчас видеть Шуру и даже вспоминать не хотел о том, что было вчера. Шурочка поспешно оделась, выбралась из мешка и шмыгнула в кусты. Зенкович накрылся с головой, попытался уснуть, но не смог... Вчера эти люди нажрались водки вперемешку с дурным портвейном. Некоторые не пили, зато пьющим, особенно инженеру и старосте, досталось так много дарового вина, что они упи-

лись, как свиньи. А он, Зенкович, переспал с ненужной ему бабешкой. Он был хуже их всех, потому что он был бессовестный бабник. Потому что они вступали в единоборство со своим собственным желудком, печенью и чем там еще? А он всегда вовлекал в игры своего сладострастия другого человека. Благо еще если такого же сухого и мертвого, как он, а если живого, чувствующего человека, который мог принять все это всерьез... Ну да, он был хуже всех. И при этом он еще воображал себя вправе судить их, бедных заблудших поросят, рыгающих и блюющих под божьим небом...

Староста икнул и скомандовал:

— Разобраться по двое. Все на поиски, в долину!

Зенкович услышал Шурочкин голос из кустов. Она хотела идти с ним в паре. Она справедливо полагала, что они теперь всюду будут ходить в паре... Зенкович выскочил из спального мешка и сиганул в кусты.

Только не это. Он не хотел сейчас ни видеть Шурочку, ни ходить с ней в паре. Он вообще не очень умел ходить с кем-нибудь в паре. Он любил ходить один. Так он был спокойнее, больше видел и больше чувствовал. Его единственный брак был ошибкой, потому что его раздражали спутники, особенно спутники-женщины. Таким, как он, нельзя брать в эту грустную дорогу «спутников жизни»...

На ходу застегиваясь, Зенкович побежал вниз, в долину. Он будет вместе со всеми искать мерзкого алкаша, громогласного питомца Дгацпхаева. Может, он упал где-нибудь и лежит, захлебнувшись в собственной блевотине. А может, ударился при этом головой о корень и стал осмысленным, прекрасным, благообразным, молчаливым, наконец, но увы, мертвым. А может, он сейчас безмерно страдает от невозможности снять штаны и оправиться. Тогда Зенкович поможет страдающему брату стянуть с себя вонючие шкары с нашивкой «Ли», изготовленной дельцами из Краснопресненског КБО...

На опушке Зенкович нос к носу столкнулся со старостой и женой пропавшего, Катюшей.

— Пойдешь с ним! — рявкнул староста, толкая Катюшу к Зенковичу. — Мне руководить надо!

Староста был в своей стихии. Повернувшись на сто восемьдесят градусов через левое плечо, он ушел руководить. Зенкович заметил при этом, что боковой карман подполковника оттопырен, и в первую минуту у него мелькнула мысль, что староста вооружен. Позднее ему пришло в голову более реалистическое соображение: в утренней суматохе староста подобрал недопитую бутылку, а задачи руководства требовали от него сейчас мобилизации всех наличных средств...

Катюша умеренно всхлипывала, отирая пухлой ручкой вздернутый носик. Зенкович протянул ей почти свежий платок и подумал о том, какая она все-таки свеженькая, пухленькая, глупенькая и умытая. О том, как хорошо было бы задержаться с ней на полчаса где-нибудь в лесу, она должно быть хрюкает и повизгивает от удовольствия, как поросенок, а он еще не слышал в походе ее хрюканья, потому что этот боров-инженер возвращался в палатку вусмерть пьяный и неспособный к действию.

— А вдруг с ним что-нибудь... — сказала Катюша, возвращая платок. — У него здоровье слабое. У него работа нервная, руководящая... Сердце подорвано...

— Не бойтесь, — сказал Зенкович. — С такими ничего не случается...

— Отчего это не случается, еще как случается, вон у нас в подъезде майор из уголовного розыска, ел холодец, ну буквально полчаса, как с работы пришел...

«Она его любит, — подумал Зенкович утомленно. — Она прекрасное, любящее, верное существо, а я подлец, и мне пора искать страдающего брата...»

Одинокая беленая хата показалась среди зелени в стороне от дороги. За оградой здоровущий мужик собирал в ведро кизил. В садике возле дома росли вишни, груши, айва, яблони, виноград, инжир...

Мужик взглянул на них искоса, продолжая свою работу.

«Какая идиллия, — подумал Зенкович. — Этот мирный сын природы продает приезжим кизил, яблоки, виноград, мед, орехи, лекарственные растения, сушеный шиповник... Он сдает им койки. А на вырученные деньги покупает шифоньеры, ковры, автомашины, телевизоры, костюмы из темного сукна, нейлоновые рубашки, джерси... Он давит вино, гонит самогон, варит варенье... И он ни разу не карабкался на бессмысленный Кармин-кале...»

Зенковича осенило.

— Скажите, — обратился он к труженику леса. — Вы не видели здесь мужика в штанах с наклейкой и в дурацкой майке с автомобилем?

— И в очках! — темпераментно вставила Катюша.

«Да, да, — подумал Зенкович. — Как же я забыл? У этого кретина были еще и очки на его бараньей морде. Как же я их не заметил? А еще собирался когда-нибудь написать роман...»

— Там он, — сказал сын природы. — Уже часа два у бабки похмеляется. Прознал, болезный, где-то, что у нас вино, пристал с ножом к горлу...

Катюша с облегчением выкрикнула что-то ругательно-ласковое, и они вошли в хату.

— Кобель! — сказала Катюша.

В ответ на это приветствие инженер нетвердо повел рукой, приглашая их садиться.

— Вино во! — сказал он и поднял большой палец, лежавший в винной лужице.

Перед ним стояли две банки, литровая и поллитровая, обе уже споловиненные. Столетняя бабушка услужливо пошла за стаканом.

— Я так, — сказала Катюша и напилась из поллитровой банки. — Ну-у-у, гад... Спугал ты нас. Тебя вся группа ищет. Человека вон из-за тебя потревожили...

— Человека че-э-ловек... — пропел инженер. — Дай-ка я отолью. Да хватит тебе!

— Он вищелый... — прошамкала бабушка. — Говорит, я

иж Машквы. Вще может быть. Тут вщякие ходют. А деньги у него есть?

Зенкович вышел в сад. Страдающий брат не страдал больше. Страдающая сестра утешилась и приняла участие. Сын природы молча обрывал кизил. Может, он про себя считал доходы, боясь сбиться... Зенковичу стало так скучно и тошно, точно это он сам уже вторые сутки лакал вперемешку все виды недоброкачественной спиртной продукции благословенного Крыма.

— Боже, до чего мерзостно, — подумал он, в тоске оглядывая райскую долину. — До чего все мерзостны, и я гаже всех...

Звякнуло стекло, посыпались осколки. Зенкович поднял голову и увидел героическую фигуру подполковника. Это он швырнул в дерево бутылку, рассыпая следы своего победоносного пребывания в долине.

— Как дело? — крикнул он со странной, почти азиатской интонацией.

Зенкович подумал, что несение службы в жарких странах не прошло для его речи безнаказанным.

— Нашелся. Цел.

— Понято! Строиться! Слушай мою команду! Собрать мешки, палатки! Выходим дальше!

Построились, конечно, не сразу. Но часа через два группа готова была к выступлению. Староста разлил остатки водки и портвейна. Выпили настоящие мужчины. Огрызков оказался в их числе. Потом туристы взвалили себе на плечи тяжеленные рюкзаки.

— Поторапливайтесь, товарищи, выступаем, выступаем, — щебетала Наденька.

Огрызков стоял в голове колонны, вслед за инструктором. Он механически включался теперь в руководящую верхушку. Шура глядела на Зенковича издали: она поняла, что ей не следует быть навязчивой.

— Господи, сидела б я сейчас дома, в палате... — вздохнула кондукторша Маша.

Зенкович отметил, что на ее долю и правда выпало совсем мало удовольствий, однако воспоминание о «доме» и палате заставило его содрогнуться.

— Скажем «до свиданья» гостеприимной долине! — козлиным голосом прокричал Марат. Зенкович различил в туристском хоре Наденькин ликующий визг и подумал, что она-то сейчас живет полной жизнью...

Он задохнулся на первом же подъеме, но он не думал просить пощады. Он трижды заслужил эти мучения — своей абсурдностью.

Но через час-полтора пришло второе дыхание, и Зенкович начал замечать лес. Во время привала он, обессиленный, повалился на спину и увидел над собой крону грецкого ореха, огромного, кряжистого, узловатого, пережившего по меньшей мере пять поколений и Маратов, и зенковичей, и шурочек, и нюрочек, и немых земфир, и распутных аспазий... Незнакомая многоцветная птица вспорхнула с куста и унеслась прочь.

— Родник! — закричала весовщица Зина. — Вода!

— Ты попробуй, что за водичка, — Марат усмехался щедро. — Я вам плохо не покажу...

Вода была холодна, сладковата. «Сладима, — вспомнил Зенкович. — Откуда это? Сладима... И почему сладима?..» Он знал, что не надо пить много, и все же не мог остановиться. Наслаждение было острым, как оргазм. И таким же постыдным. Потом наступила неизбежная расплата. Идти стало труднее, вода плескалась в нем, как в термосе, неотступно ныло сердце, ломило левую руку. Позднее был еще привал. И еще. Они шли теперь по узкому каньону, стало прохладнее. Зенкович притерпелся к рюкзаку, стал смотреть по сторонам. Таинственный нерусский лес уходил в боковые ущелья. Часто попадались дикие яблоньки, груши. Плоды их были мелкими и душистыми. Кто посадил их? Крестьяне? Монахи? Когда-то в этих благословенных дебрях жили люди. Звонили монастырские колокола. Раздавался крик муэдзина. Татарин расстилал молитвен-

ный коврик в дорожной пыли, там, где заставлял его час молитвы. Теперь здесь стоял лес, ничей лес, полный красоты и тайны. Пусть только пройдут туристы, пусть они уйдут, тогда можно будет отстать, остаться одному — лежать под деревьями, есть дикие груши и барбарис, вкушать всю полноту обладания лесом. Ведь это так нетрудно, просто отстать и все. Нет, они будут искать его, кричать, шуметь. Он сделает хитрее: когда все остановятся на дневку, ночевку, на пьянку, что там еще? — он вернется, по той же самой тропе, найдет этот вот каньон и эти горы, и тогда он побродит один, вдоволь насладится одиночеством и спокойно подумает над тем, что же делать дальше. Как жить дальше. Надо же что-то предпринять, нельзя жить так, как он живет, как они все живут, больше нельзя, не остается времени, может, уже не осталось...

Он волочил свой рюкзак до нового привала, а потом, собрав последние силы, до стоянки, лелея в душе свой хитрый план, его собственный план, тайный план, тайну его свидания...

Ничем не выдав своих планов, он собирал дрова, стараясь держаться в стороне, подальше от всех, потом быстро поужинал, ополоснул котелок и ушел за кусты, дальше, еще дальше, вверх по склону горы, по той самой тропе, которая их привела сюда, дальше почти бегом, пока не стали попадаться облюбованные им места — вот он, огромный муравейник, вон старая заброшенная изгородь, грецкий орех, дикая груша... Зенкович был теперь один в мире тишины, в мире красоты и незаплеванной тайны, вдали от Маратовых шуток, от хамства старосты, от пьяной глупости, от девок и теток, от собственных недостойных вождений. Время сочилось по капле, журчало лесным родником и замирало, собираясь в прозрачные заводи, время шелестело листвою, распадалось в шествии муравьев, вечное, всеобъемлющее время...

Зенкович лежал на прогретой, упругой земле, рвал дикие плоды и ягоды, наблюдал за птицей, бабочкой, му-



равьем, белкой... Они были прекрасны, и все в них было исполнено грации, целесообразности, совершенства. Только он был тяжелым, неуклюжим, у него болело сердце, и все его действия на этом свете, все его движения, все его встречи и расставания, труды и путешествия были нецелесообразны, неосмысленны, лишены стержня, лишены грации и красоты. И вот она уже клонилась к закату, его жизнь, может, даже подходила к концу, а он все еще не решил, как он будет жить, что делать и главное — зачем? Зачем все было, зачем будет? Зачем он экономил время и расточал время? Зачем стяжал земные удовольствия и знания?

Он искал ответа и не находил. Была только одна щемящая жалость от того, что так мало уже осталось ему всего этого — и запахов леса, и пения птиц, и гор, и леса, и ощущения гладкой женской кожи, и даже обиды, даже грусти, даже одиночества... Ничего не постиг он за целую жизнь такого, что могло бы утешить в его ненасытности, в его грусти по уходящему. А где же обещанная зрелость и мудрость зрелости? С чем ухожу? Куда?

Он увидел край изумрудной рощи, позолоченной заходящим солнцем. Потянуло прохладой. Зенкович поежился, встал, пошел прочь.

В сумерках лес вдруг стал серым, и Зенкович почувствовал себя неуютно. Он вслушивался в незнакомые голоса вечернего леса и с тревогой сознавал, что не сможет пробыть здесь долго совсем один — день, два, десять или сто дней... Если бы работа была с собой — работа, книги, машинка. Тогда можно продержаться долго... Как долго?

Он вспомнил прошлый вечер, Кармин-кале. Если бы здесь поблизости было такое же пепелище культуры, такое же Кармин-кале... Кармин-кале... Что было Кармин-кале до того, как разоренное врагом и временем опустело городище. Зенкович вспомнил, как однажды, бродя по улицам умирительно прекрасного Кведлинбурга, он вдруг вспомнил, что в этих прекрасных домах с их резными порталами и чудесными «фахверке» жили всего навсего торгаши, бу-

лочники, скопидомы-ростовщики и пузатые, чванливые «выборные лица», политиканы из магистрата... Время придало трепетное очарование этим бюргерским домам, каждый из них стал прекрасным творением искусства... А кто населял Кармин-кале? Кто были в массе своей елеониты? И каково приходилось среди них Феодору? С кем, кроме двух-трех друзей, мог он говорить откровенно? С кем, кроме этих двух-трех, стоило говорить? А уж бедолаге — Бенциону приходилось, вероятно, и того хуже. Из двух-трех двое вполне могли презирать его за неполноценность, пресмыкаться в глаза и смеяться за глаза... И если бы воскрес Кармин-кале, с кем кроме этих двоих, кроме Феодора и Бенциона, хотел бы поговорить сегодня Зенкович? А раз так, то даст ли ему спасение оживший Кармин-кале? Мертвый Кармин-кале другое дело. Но мертвый город был мертв, недвижим, и ему не нужен был никто...

Нога Зенковича нащупывала тропу в полумраке. Он шел назад, он уже знал это. И так как он был один, наедине с собой и ночным небом, он должен был прямо ответить на вопрос — зачем ему туда? Что ему там? Кто нужен ему там? Он знал все, что сможет найти у костра, того самого от которого бежал вчера и сбежал сегодня. Так неужели там все-таки есть нечто, без чего он, разумная, хотя и слабая тварь, не может прожить? Что это? Что за нечто? Общение? Женщины? Разговор? Исповедь? Проповедь? Простое прикосновение родственной твари? Что? Зенкович не мог ответить на этот вопрос, и все же ноги несли его туда, а когда костер вдруг блеснул невдалеке за кустами, он даже отшатнулся — так ярко встало перед его глазами то, что он увидел вчера... Он словно ощутил запах винного перегара, услышал визгливые, пьяные возгласы женщин, пустую болтовню мужчин... Зенкович стоял за кустами, взывая к своей смелости, к своей честности.

— Хорошо! Тогда признайся, что ты не можешь жить без этой суеты. Не можешь существовать без их суждения. Что их поведение и слова могут влиять на твое настроение.

Что ты плоть от плоти этого быдла. Что ты то же самое быдло, только еще испорченное. Ученое, но недоученное, недовоспитанное, недочувствующее...

— Да, я признаю! — сказал он себе. — Так мне легче и я признаю. Я человек. Я слаб.

Он подошел ближе — вышел из-за кустов и, невидимый, встал за кругом света. У костра тихо пели. Это была незнакомая ему украинская песня, тягучая, нежная, с непривычной для жителя средней России сложной мелодией. Тоненько, жалобно пела Зина, весовщица со станции Дарница, кондукторша Маша ей подтягивала хрипловато, испитонечно. В этой песне у ночного костра была неожиданная, пронзительная красота... Зенкович сделал шаг вперед. Шура заметила его. Она подвинулась, очистила место рядом с собой, продолжая петь. Он опустился рядом, оперся о ее теплое плечо. Шура пела, тайком перебирая его волосы.

Зенкович смотрел на звездное небо. Одна из звезд светила особенно ярко, отчаянно ярко. Может, это просто был свет звезды, погасшей тысячу лет назад. Зенкович думал о том, что когда звезда эта окончательно погаснет, когда иссякнет ее свет, ветер уже развеет и его волосы и пальцы, перебирающие их... Может, еще сохранится пепел костра или котелок, потерянный старостой в кустах. Какие-нибудь люди, если люди еще будут существовать на земле, найдут этот странный котелок и этот немногословный пепел, освященный временем. Они подумают о тех, кто оставил им ничтожные эти следы, однако ушедшие будут непонятными, действия их тоже будут освящены временем, веками, расстоянием, воспоминанием о великих бедах и катаклизмах... Где-то в безднах времени затеряется и этот миг умиления, пережитый сейчас Зенковичем, не больший и не меньший, чем прочие, вероятно, равный всем прочим мигам...

Зенкович увидел у костра Наденьку. Она мирно спала, положив голову на колени мужу. Перед лицом бездны, открытой Зенковичу, их сегодняшние страдания были малы

и несущественны, их вина мизерна, их предательства ничтожны. А, может, их не было — этой вины и этих предательств, Надя была обманута в своих ожиданиях, теперь она дополучала то, чего не получила в свой срок и, может, никогда не получит больше... Человек, сознавая ужасающую краткость своего века, старался жить сразу в нескольких плоскостях, прожить несколько разных жизней. Не Зенковичу с его страхом перед временем винить кого-нибудь за это.

Откуда она взялась, эта прекрасная украинская песня? Из какого сора выросли эти стихи?

Звезды смотрели на суетливых земных тварей с холодным снисхождением. Это мошकारа-однодневка суетилась там внизу, и день ее был неуловимо краток перед лицом звездной бездны. Зенкович прижал Шуру руку к своей щеке. Ему хотелось убедиться, что рука ее еще теплая, что щека его чувствует это тепло, что они оба живы...

\* \* \*

Последний день похода группа делила между купанием в «ванне молодости» и репетицией походной песни. Для учета показателей группы на маршруте и за образец взяты были не то соцсоревнование, не то полковой смотр. Одним из важнейших этапов в этом соревновании были возвращение на базу и групповой гимн. Группы сами придумывали слова этой походной песни и мелодии. Чаще всего заимствовали у популярных шлягеров. В тексте песни говорилось, как правило, о том, как славно отдохнула группа, как весело было ей в походе. И как грустно возвращаться на службу. Туристы безудержно шутили над своими страданиями, а наиболее толковые сочинители ухитрились выразить в той же песне благодарность администрации (той самой администрации, которую неделю назад и притом вполне справедливо честили за неудобства и неурядицы), а также инструктору своей группы, без сомнения, лучшему из

инструкторов турбазы, человеку, вложившему душу (Зенковича подмывало добавить, что не только душу) в членов своей группы. Программу торжественного возвращения на базу разрабатывал актив группы. Он же готовил песню и спич. Зенкович по большей части прятался в чаще со своим романом или загорал возле «ванны молодости», представлявшей из себя сильно взбаламученное туристами озеро. Хотя никто всерьез не верил, что купание в этой луже омолаживает, всякий считал, что не следует упускать даже столь сомнительный шанс омоложения. Невзирая на то, что большая часть группы еще не нуждалась в омоложении.

Наступил день возвращения. Чтобы прибыть на территорию турбазы точно в час, назначенный для встречи с оркестром, группу заранее привозили на подступы к княжескому дворцу, и она долго еще репетировала весь ритуал возвращения, разместившись во дворе ближайшего гастронома и успевая взвинтить себя до последней степени. Староста исчез куда-то, а, вернувшись, сообщил, что в грядущем соревновании он уже выторговал их походной песне первое место. Огрызков репетировал свою речь. Наденька пила вино и о чем-то шепталась с Маратом. Торжественная минута приближалась. Туристы были возбуждены, Наденька хватала Зенковича за руки в поисках поддержки и сочувствия.

Наконец, встал Марат. Он был бледен, полон решимости и смотрел на часы.

— Построились! — крикнул он. — Шагом марш!

Зенкович подумал, что сейчас было бы совсем несложно отстать, затеряться во дворе гастронома и прийти на полчаса позже, когда все будет кончено. Никто, вероятно, не заметил бы его отсутствия. Его личный вклад в походную песню ограничился двумя рифмами, так что авторское самодлюбие его не жаждало аплодисментов. Однако он колебался так долго, что одна из женщин, шагавших сзади, фамильярно подтолкнула его в спину:

— Эй, пошли! Отстанем.

Он зашагал в шеренге, строем вошел на турбазу и поначалу испытал волнение неопытной эстрадной певицы, оказавшись перед аудиторией из полутора десятков туристов.

После рапорта инструктора Огрызков вышел вперед и стал благодарить (в стихах и прозе) их инструктора, вложившего всю душу... Зенковичу показалось, что это даже чуть слишком сильно, однако никто, кажется, не разделял его сомнений. Закончив, Огрызков нервно взмахнул длинными руками и туристы нестройно запели свою песню на мотив популярной детской песенки, так обожаемой в те дни взрослыми: «К со-о-жаленью, день рожденья, только раз в году...» В тексте гимна говорилось о том, что тащить рюкзак было трудно, но они под руководством Марата справились со всеми трудностями, поздоровели, окрепли и даже успели посетить гастроном (последняя строка была безошибочно рассчитана на смех аудитории). Кончалась песня привычным сожалением о том, что «отдых летний только раз в году». Песня была умеренно пошлой и длинной. Зенкович вовсе не собирался петь. Хотя бы потому, что был лишен и голоса и слуха. Он в жизни еще не пел. Тем более, такой белиберды. К собственному удивлению, он заметил, что рот у него раскрыт и мерзкие звуки вылетают наружу. Он мучился душевно и пел. Фальшивил и пел. Мучая себя и заранее прощая, думал о том, что уклониться от этого мероприятия можно и нужно было раньше. В полдень, когда высадились у магазина. Когда трогались от гастронома на базу. Когда, наконец, долговязый Огрызков взмахнул своими грабками. А теперь, раз уж он разинул рот... Когда дошли до сожаленья и хор стал особенно фальшивым, напористым и боевитым, Зенкович подумал, что в сущности это сомнамбулическое пение нисколько не противоречит бессознательному ходу всей его сознательной жизни.



Асар ЭППЕЛЬ

## БУТЕРБРОДЫ С КРАСНОЙ ИКРОЙ

На подъездах к Останкинскому парку, если от Марьиной Рощи ехать по столбовой Ново-Московской улице, справа появлялся Пушкинский студгородок — скопление штукатуренных бараков, занимавших территорию, хотя и обширную, но меньшую, чем другой студгородок — Алексеевский, расположенный ближе к Ростокину. Об Алексеевском обязательно вспоминали, если слово «студгородок» не уточнялось названием — Пушкинский, я же помянул его потому, что жизнь в тамошних бараках была другая, а какая — точно сказать не берусь.

Барак создается врасплох и наспех. И всегда для решительных действий. Как баррикада, прямая его предшественница. Но баррикада может пасть, и тогда ее разберут, а барак никогда не падет и никогда его не разберут, о чем и свидетельствовал наследник баррикад — Пушкинский студгородок.

Рукопись пришла по каналам самиздата.

Выполнив когда-то свою паническую миссию, сделавшись кровом неведомым рабфаковцам, он, исторгнув затем доучившихся в мир свершений и песен Дунаевского, не пал и не был разобран, а заселился; и недоучившимися, и всякой сволочью, и добрыми людьми. Причем несдвигаемо и навсегда.

Были у меня там разные знакомцы. Из первых, вторых и третьих. Взять, скажем, из третьих удивительного Семена Есеича! Но о нем не здесь. Зато о тете Дусе, ходившей за ним, расскажем. И не только о ней. Однако сперва воспоем барак. Причем не Алексеевского, а Пушкинского студгородка.

Барак есть продолговатое двухэтажное строение с двумя входами по фасадной стороне, двумя деревянными лестницами на второй этаж и низко сидящее на грунте. Это — плохо выбеленная постройка под черного цвета толевым покровом, в которой ходят, сидят, лежат и из которой выглядывают люди.

Длину барака установить сейчас будет нелегко, а ширину вспомнить просто. Поскольку оштукатуренные стены внутри себя всего-навсего сруб, то барачный торец не мог быть шире семи или восьми метров; верней сказать, ровно таким и был — это долгота строевого бревна. Значит, в сказанные метры укладывались длинные стенки двух комнат плюс ширина коридора. Кладем на последний полтора — и на каждую комнату остается по два с половиной. Все правильно! По ее длине сразу поместится рабфаковская койка — два метра, а в изножье или изголовье койки — тумбочка, в которой рабфаковец мог держать свой «Анти-Дюринг» или зачитанную до ветхости книжонку с волнующим, но мелкотравчатым названием «Без черемухи».

Итак, на каждом этаже полутораметровой ширины коридор, а по обе стороны выходящие в этот коридор, протянувшиеся вдоль своих коек комнаты, а в комнатах людей, детей и пожитков — битком.

Коридор, он же кухня, совершенно бесконечен, потому

что под потолком его, коптя, как керосинки, горят одни только две желтые десятисвечевые лампочки, а кошмарные в чаду и стирочном пару светотени от многих различных предметов создают без числа кулис и закутков, и все размыто сложного состава вонючим мутным воздухом.

В общем — чад и смрад, а по стенам корыта, лохмотья на гвоздях, корзины из прута, двуручные пилы, завернутые в примотанные шпагатом желтые, пыльные и ломкие газеты, на полу — сундук на сундуке, крашенные белым столики с висячими замками, табуретки, волглые и отчего-то мыльные, на каковых тазы под рукойниками. Нет ни складу ни ладу от тускнеющих повсюду ведер с водой и ведер мусорных, и ведер с помоями для поросенка, которого откармливает крестная где-то в Марфине, от раскладушек старого народного типа — холст на крестовинах, от санок, кадок, бочек, бадеек, от лопат с присохшей к железу желтой глиной, вил и грабель, ибо у жильцов первого этажа под окнами грядки, а иногда — кролики или куры. Стоят там еще и детские лыжи, выцветшие и прямые, как доски, по бедности одна лыжина короче другой. Стоят там просто доски, тоже разномерные, с пригнутыми к их лесопилочной поверхности кривыми бурыми гвоздями. Стоят принадлежавшие некогда правящему слою какие-то прекрасные, но непригодные в обиходе барачных троглодитов вещи: сломанный стул со шнуром по бархату, подставка для тростей, а то и диванчик лицом к стене, округлая спинка которого вместе со стеной образует прекрасную емкость для хранения картошки.

Страшный коридор, поганный коридорчик, конца ему нету! Но бесконечность его все же не безупречна — ее пересекают или отворившиеся двери, или разговор, всегда похожий на скандал, или ум-па-ра ум-па-ра-ра на баяне, а в одной из комнат — удивительный голос патефона, доблестно прокрутившего на прошедшей всю войну тупой игле прекрасную пластинку «Так будьте здоровы, живете богато» (жаль вот за последнее время пластиночка сильно треснула).

Тетя Дуся живет в комнате самой угловой и самой жалкой. Уже известные нам два с половиной погонных метра простым умножением на два превращаются в пять метров квадратных, а кто в такой комнате селился, тот знает, что напротив двери — окно, что слева спят и роются в сундуке, а справа — сидят за столом и содержат в шкафу моль. У окна может стоять ножная швейная машина, у кого она есть, а если ее нету, под окном можно поставить, допустим, табуретку.

Постель на койке у тети Дуси образует бугор, ибо под тюфяком хранятся несезонные вещи и большие связки коричневатых драных чулок, служащих исходным материалом для починки пяток. Чулки, как правило, сохраняют в себе шелуху эпидермиса молодой когдатошной тети Дуси; все они в резинку, однако попадают единицы хранения фильдекосовые и даже фильдеперсовые.

В высоту комната — два десять, но это жить не мешает, потому что народ в то время был низкорослый и корявый, как орловские мужики во мнении Тургенева. Статные тургеневцы-калужцы тут не селились и начинали попадаться не ближе Грохольского переулка, а туда еще ехать и ехать...

Итак — на постели был бугор, и это причиняло нам — мне, прикивавшему к моей подруге, чтобы умирать, и ей, прикивавшей, чтобы возродить меня, ей, знавшей в отличие от меня, постели широкие и очень хорошо умевшей ими пользоваться, — разные (впрочем не будем обращать внимания) неудобства, мешающие древнему и косноязычному обряду объятий.

Барак, коридор его, тетя Дуся... Ослепительная моя подруга, знавшая другие (о господи, опять я съехала!) широкие постели, я, знавший постели типа топчан (о господи, опять ты съехал!), но знавший также, что ко мне пришла ослепительная моя подруга, знавшая другие, широкие постели, — почему все это вместе? Почему все это сошлось, съединилось, соприкоснулось на первом барачном

этаже, точнее — в его правом заднем углу, если смотреть на барак с фасада? А вот почему:

Тетя Дуся, сопатая маленькая старуха, ходила за моим старшим другом, холостым учителем физики Семеном Есеичем, обитавшем в бараке через дорогу. Но о нем, как уже было сказано, не здесь. Так вот — тетя Дуся, считая, что дружба со мной идет на пользу гениальному Семену Есеичу, и потому, уважая меня через посредство Семена же Есеича, снабдила меня ключом от своей комнатенки. Она практиковала за кое-какое поощрение или просто за спасибо давать ключ знакомым физика, а делала так вероятно потому, что чужое плотское житье вызывало в ней приятные мысли.

Люди памятьные не забудут, как безнадежно было в те времена найти угол, дабы завершить невыносимые полувстречи, затеянные в кустах, в подъездах, на скамейках или в общежитиях, когда подруги по комнате уснут, — уснут они, как же! — так что попасть на бугристое тетидусино ложе, пока сама тетя Дуся сходит прибраться к своему работодателю или просто умотает куда-нибудь, было редким и желанным счастьем.

Теперь о ней, ради которой я заимел тетидусин ключ.

...Мы тяжело, и давно уже досадуя, шли вверх по склону, и подъем по жесткой колеистой дороге, обильной морскими гольшами и галькой, на которых всякий раз подворачивалась стопа, был совсем плохо придуман мною. И казалось, она, моя новая знакомая, похожая на Калипсо красавица со страхом в глазах, вот-вот возмутится и пожелает повернуть назад, ибо даже предлог нашего восхождения сюда был нечеток и неубедителен — то ли обозреть сверху море, то ли поглядеть, как выглядит на мандариновых деревьях завязь.

Но спутница моя не возмущалась, хотя могла бы и повернуть, а я в страхе ждал ее негодования, ждал, когда ее согласие кончится: я тогда был очень молод и считал, что согласие может, очень даже может смениться негодованием. Ведь подозревала же она, верней, понимала тайное мое на-

мерение — влажную и нестерпимую надежду. Конечно, и она тоже была вовлечена в обоюдный наш необъявленный сговор. Однако знойный подъем! Ну сперва согласилась поглядеть на завязь, а потом раздумала...

Мы уселись под мандариновым деревом на сухую, состоявшую из сухих горячих комочков землю, и моя рука стала протискиваться между мягковатых, чуть-чуть прохладных, но и чуть-чуть разгоряченных бедер. Пятипалое мое осязание обретало вожделенный мир, сомкнутый между этих ошеломительных прикасаемостей. Запястье ни с того ни с сего ползло по сухим горячим комочкам обработанной под мандариновым комлем земли, а пальцы продирались сквозь то разжимавшиеся, то смыкавшиеся бедра и утыкались, словно щенки, во влажную — обширную после стиснутости бедер — путаницу достигнутых зарослей. И подруга моя от прикосновения вздрагивала, дергалась как-то и говорила: «Не надо, а то у меня голова заболит, и будет сильно и долго болеть!», и сама стискивала длинными своими изукрашенными пальцами то, что хотела. «Ну давай отложим, — шептала она, — здесь не место. Все видно и солнце... Ну давай же отложим!» — дергалась, и колени ее были уже бесповоротно разомкнуты, но она была права — сухой склон под придорожным мандариновым деревом сам по себе и так сомлевал и умирал под солнцем...

Отложим до Москвы? Кто из нас уезжал в тот день, не помню... Отложим до Москвы!

...Мы шли к тете Дусе на исходе теплого летнего дня мимо барачков и паршивеньких палисадничков, огороженных — вернее отгороженных друг от друга — всякой дрянью. В окнах низких первых этажей стояли люди и водянистые комнатные растения, произраставшие из консервных банок, или ржавых, или как бы золоченых, а теперь облезлых.

Напомню: русская консервная банка всегда была оловянного цвета, и только война вдобавок ко всем своим кашевоым чудесам явила чернобуквенные золоченые банки от

спасительной свиной тушенки. И, хотя кончилась война, и, хотя она уже кончилась настолько, что немцам зачем-то отдавали Дрезденскую галерею, предварительно показывая ее всем желающим, банки эти догнали в окошках Пушкинского студгородка, кое-где, правда, обернутые красиво вырезанной белой бумагой, пожухшей сейчас от подоконного солнца, ржавчины и потеков воды.

Мы шли к тете Дусе мимо строений, в окнах которых стояли люди, как бы не знавшие меня, хотя могли стоять и мои знакомые. Умело выбранная дорога позволяла избегать нежелательных встреч, так как рядом со мною, во-первых, шла женщина, а во-вторых, невиданная и неслышанная в этих краях женщина.

Первое и самое правильное — было подумать, что она шпионка, ибо одета и украшена была она так, как до сих пор была одета и украшена только героиня обожаемого всеми кино «Девушка моей мечты».

Даже я, сохранивший в пальцах воспоминание об ее удивительном по тем временам купальнике, тяжелом на ощупь, как портьера, и фосфоресцировавшем под звездами нашего ночного купания, когда все начиналось и когда она поцеловала меня небывалым в моей прошлой и предстоящей жизни поцелуем, — так вот, даже я, знавший ее гардеробные возможности, был ошеломлен тем, что увидел.

Как я сказал, война уже закончилась настолько, что представлялась голодом, но с тушенкой, в сравнении с последовавшим после войны голодом без тушенки. Кончились военные моды, отличавшиеся полевым шиком, разнообразными американскими подарками (у кого они были), кончились уже и сносились трофейные тряпки, небывалые по изощренности, по мерцающим подкладкам, по аккуратности шва, по бесстыдному дамскому белью и по возможности носить все это при желании даже наизнанку. Кончились для всех, и все облачились в наше, свое, пошивочное. Но не она, моя знакомая. Она пришла ко мне в виде фантастическом, а в каком, уже не помню, причем для внеш-

ности этой у моей знакомой были особые — основательные причины.

Дыша духами и туманами, приходили женщины к Блоку. Об этом я узнал позже. Она пришла, сверкая кольцами, серьгами, ожерельями. Все это станут потом называть бижутерией и за годы привыкнут, через стыд и предрассудки, но привыкнут носить, видоизменяя баб в как-никак, а женщин.

Откуда же это могло появиться тогда, когда еще не должно было появиться? Откуда она все это взяла: платье странной ткани, туфли, усаженные золотыми пряжками, со сверкающими стекляшечными камнями на последних? Откуда? Оттуда, вот откуда! — она работала в оккупационных войсках в Восточной зоне, долго жила в Восточной Германии, недавно оттуда приехала, а там состояла штабной переводчицей и жила с мужем, работником особого отдела.

Особиста своего она боялась панически. Скрытным образом жизни и всеведением он заставил страдать ее душу и плоть, а к последней вообще относился с нестерпимой суховатостью.

Плоть эта не отбушевала ни у теплого моря, ни под комлем мандаринового дерева из опасений быть разоблаченной какими-то знакомыми, а может быть, откомандированными особистом нижними чинами.

Свидание невозможно было устроить и в Москве. Долго было невозможно. Но вот тетя Дуся дала мне ключ, сама куда-то ушла, и я иду с моей подругой, чуть сбоку и на шаг как бы впереди, а можно сказать, и позади, по тропинкам и задам Пушкинского студгородка к тетидусиному бараку, стоящему на главной улице. Это очень закаляет и полирует кровь — пройти со сверкающей женщиной в дверь барака, расположенного на главной улице, так, чтобы тебя никто не заметил.

Все равно во всех окошках торчат изумленные люди, бабки на завалинках вычесывают седые клоки частыми гребнями, могут попасться однокашники, а один человек

возле сарая уже который год изобретает велосипед.

Летняя улица светла и солнечна, а за другим сараем мальчишки спаривают кроликов. Девочки нарочито толпятся издали, но все же видят, как кролик, сосредоточенно щипавший травку рядом с крольчихой, в какую-то секунду на крольчиху воздвигается, кто-то из ушастых зверьков резко взвизгивает, и оба, пошевелив носами, тотчас принимаются кормиться. Мальчишки то и дело констатируют, что кролики е б у т с я. Девочки, поглядывающие издали, тоже знают, чем занимаются кролики, но слово е б у т с я не употребляют. Наглые мальчишки, желая обратить внимание девочек, делают из двух пальцев левой руки кольцо и, просунув в это кольцо указательный палец правой руки, двигают им взад-вперед. Девочки уходят.

Таким образом я веду свою подругу через мое детство, но она его не видит и не замечает, а молча идет рядом, думая лишь о возможной слежке особиста.

Она идет на удивление невозмутимо. Ее просто оцепенил и ослепил страх. Ее страх. Меня же мой страх сделал зорким чудовищно, и, когда мы входим со света в крошечный коридор барака, я умудряюсь разглядеть трущобную стирку в дальнем его конце и человека, сортирующего в консервной банке червей-опарышей.

Возня с тетидусиным ключом, и мы в комнате. У меня с собой бутерброды. С красной икрой. Пять штук. Копеечные дела по тем временам. А она достает вино! Она достает — вино... Такого я сроду не мог предположить. Она достает незнакомое мне вино, а знаком я — да и то понаслышке — только с кагором и портвейном «три семерки», каковые очень ценятся окружающими меня знатоками чего угодно, но не этого дела.

— погоди! — говорит она, выпив немного и съев полбутерброда, я дрожа начинаю обнимать ее, беспрепятственно касаясь тяжелой и теплой материи мягкого платья, и ощущение это само по себе уже сладостно. — погоди! — говорит она. — Мне сперва нужно выйти!

— Выйти?

— Обязательно! Я иначе не могу...

Я убит. Выходят в Пушкинском студгородке вот куда: среди бараков на все про все имеются два сарая, по виду как бы деревенские амбары. Каждый сарай высок и светел из-за щелей и одного оконца слухового типа. Сарай выбелены известкой прямо по дереву, и сползшая с плохих и старых досок известка создает уникальный колорит неопрятности и неприкасаемости. Амбар перегорожен стенкой, которая упиралась бы в потолок, если бы таковой был, но над стенкой пусто, а дальше виднеется изнутри конек двускатной крыши.

По обе стороны стенки — на мужской и женской половине — помосты из толстенных досок с выдолбленными в ряд восемью дырками. Эффект присутствия — полный. Во-первых, из-за низкой перегородки, во-вторых, из-за того, что, если стоишь не доходя до помоста, в яме виден окончательный результат совершаемого за перегородкой.

Те, кому этого мало, пробили в стене на разной высоте очень большие дырки. Дырки эти кое-где чем попало заколочены. Но только кое-где. Я тоже родился не во дворце, тоже посещал нужник на задворках, и о том, что на сиденье садятся, а не встают ногами, догадался сам в двадцать три года, но в чудовищные сортиры студгородка (Пушкинского, не Алексеевского) заглядывал только при крайних обстоятельствах, хотя в знойные дни вонь в их прогретом полумраке почему-то делалась томительной, а сквозь бреши в перегородке можно было понаблюдать решительные приседания и послушать интересные разговоры забжевавших подруг. Но это — летом.

Как известно, народ наш обращается с отхожими местами на редкость небрежно и неопратно. Ему, народу то есть, ничего не стоит, пренебрегая элементарными навыками прицельности, загадить края отверстия, измочить пол, оставить на стене отпечаток пальца. Доски все впитывают, все присыхает к ним, обдуманная неопрятность по-



рождает неопрятность вынужденную, и расположиться над очком становится все труднее и труднее. К наклонному желобу тоже мешают подойти лужи, особенно если ты на кожмитовой подошве или в тапочках.

А тут — холода на носу. Все, что впитывалось, начинает заледеневать, наслаиваться. О том, чтобы пройти по наледям к очку, не может быть речи уже в канун января. Тактическое пространство уменьшается. Захожий народ отступает в своих действиях ближе к двери, беспорядочно гадя на пол. На стенах (пока еще изнутри) высокие наледи сывороточного цвета, они, достигая полуметровой высоты, сталагмитами высятся из пола, перемежаясь окаменевшими бурными кочками. Иней на досках, желтые кристаллы, — а народ не унимается, — куда же денешься? И вот, к середине февраля, стоя только в проеме дверей, можно справиться малую нужду во тьму мира окаменелостей.

Это обстоятельство решительно меняет суточные ритмы Пушкинского студгородка. Теперь сюда подгадывают прийти в сумерки или ночью. И вот уже стены в мутных наледях — снаружи, и вот уже пространство вокруг стен, если не засыплет снегом, делается сами понимаете каким...

Но тут наступает весна. Кто-то матерясь чистит все это. Кто, не знаю. Полчаса, омытый водой из шланга, амбар похож на человека, а потом начинается все сначала, а к вечеру входит в него онанист Митрохин и быстрыми движениями расщепляет долотом горбылину на самой перспективной дырке. Потом совсем недолго ждет, и вот уже содрогается в углу, слыша шуршание за перегородкой.

В этот вот амбар невозмутимо отправляется моя подруга. Я второпях кое-как объясняю ей неблизкую дорогу, совершенно не представляя, как она доберется, — а если и доберется, — как воспримет, дыша духами и туманами, эту срамоту, как изловчится пройти в своих бархатных туфлях по набухшему полу?

Я проводить ее не могу, ибо просто не представляю, как вообще можно провожать женщин в одно место, становясь

ненамеренно посвященным в эту совершенно скрытую необходимость, в этот апофеоз неуклюжести и обескураженного достоинства.

Она уходит. Я жду. Я понял! Пройдя сквозь слободу, униженная дорогой к тете Дусе, ошеломленная пятиметровой тетидусиной норой, (я-то привык, а она видит ее впервые) прелой горбообразной постелью, на которой будем, столом с бутербродами, белоокрасными и сверкающими возле мутного граненого стакана, где в гнилой воде раскисла грязная разбухшая луковица, выставившая изнутри себя отвратительный зеленоватый зародыш лукового пера... — увидя все это, она передумала. Ушла! Просто взяла и ушла! Вот и сумочку взяла же! Правда, вино оставила... Принесла вино... Ни за что в жизни не мог бы предположить, что ради меня принесут вино. Ушла! А если не ушла, то заблудилась, а если не заблудилась, то кто-нибудь привязался к ней — здешние обитатели, как было сказано, запросто могут подумать, что она шпионка. Недавно вот в Марьиной Роще небезразличные к судьбам Родины люди поймали шпиона, похоже — американского. Или даже двух...

— Что ж ты, Калиныч, в рот нехороший, велосипедом мои дрова загородил? Неужели не доделал еще? — слышится за окошком бодрое начало добрососедского разговора у сарая. От неожиданности я дергаюсь, замираю, подбираюсь к окошку и заглядываю в щель между марлевой занавеской и облупленной доской проема...

Возле моего глаза, огибая каменный желвак масляной краски на тетидусиной раме, ползет ручеек рыжих муравьев. Выползают они из одной щелки, а спустя сантиметра три уходят в другую... Что муравьи! Мое зрение способно сейчас разглядеть амебу... Мои уши способны уловить ультразвук...

— Калиныч, бля... — раздается у сарая звук обычный, и сердце во мне, заколотившись, проваливается, потому что за спиной, трясаясь, открывается дверь. Я рывком поворачи-

чиваюсь и обалдело удостоверяюсь, что в дверь тихо проskalъзывает моя подруга.

— А вот и я, — говорит она, а я своим обостренным зрением немедленно и тщательно впиваюсь в ее бархатные туфли и особенно в тоненькую линию красиво зачерненной подошвы.

— А умыться тут можно?

Мама дорогая! Это никогда не кончится! Я же не знаю, где в коридоре тетидусин ручноймыльник и какой обмылок на какой из тридцати трех полочек ей принадлежит, и какого мыла? — может, развесного мраморного, которое варит мыловар Ружанский, а из чего варит, об этом в свое время. А вдруг таз под умывальником полон, и его надо вынести?.. А если полон, то чем?..

— Унмеглих! — говорю я по-немецки, потому что моя подруга этот язык прекрасно знает, а я в то время тоже неплохо болтал, что, кстати, в немалой степени расположило ее ко мне там, где мандариновые деревья дают завязь.

— Унмеглих, вайль их вайс ниht, во ист дер тетидусин ручноймыльник унд зайфе! — начинаю я валять дурака, а она, улыбнувшись, достает из сумочки сверкающий флакончик, потом ватку и аккуратно протирает пальцы со множеством поразительных колец, среди которых толстое, сковавшее ее с особистом, — непринятая тогда в обиходе и тоже внезапная вещь.

Она подошла к окну, глянула в щель сбоку занавески, подвинула занавеску, потом повернулась, расстегнула платье, сняла его, потом сняла еще какую-то непостижимую одежду, потом сняла все остальное, и я впервые увидел женщину, раздевшуюся для меня.

— И ты все снимай! — сказала это чудо, когда я подошел, обнял ее и растерянно вжался в эту, невыносимо разнообразную наготу, столь отличавшуюся от моего однообразия.

— Погоди же! Постой! Металл мешает любви! — и она

стала снимать с шеи, с запястьев, с пальцев, вытаскивать из ушей сверкающие предметики, складывая их на клеенке, где вскоре получилась кучка из часиков, сережек, браслетов, перстней — один вдруг покотился под кровать, и возле прекрасных ног я, словно юноша Актеон, но чудесно избежавший всех псов окраины, в подкроватном запустенье нашел легчайшее колечко, а когда вытаскивал из-под кровати голову, увидел, не вставая с колен, что прекрасные ноги, чтобы не мешать мне, поджались вверх, оторвались от пола — это она села на горбатую постель, а потом легла. Я тихо-тихо положил на клеенку колечко, и оно сразу же доверчиво приткнулось к остальным, а я так же доверчиво вошел в страну, где пришельцев сладко целуют, ласкают, заморочивают и почему-то при этом всхлипывают, прилепляясь к этим пришельцам, — в страну мандариновых завязей и сухой горячей земли, в страну двоих, по влажным отмелям которой странник Улисс направляет строгие свои стопы к слабеющей в спутанных зарослях волос Калипсо.

Это была с в о б о д н а я любовь. Все мои прежние достижения, поспешные, хватательные, жадные и жалкие, были недолюбовью по сравнению с тем, что происходило в стране мандаринового солнца. На улице темнело, в комнате смеркалось, и сумрак этот все больше отстранял и выключал из пространства страну, куда я уже неоднократно вступал, всякий раз слыша тихий смех, тихие всхлипания, тихие слова, и где ни с того ни с сего ощутил вдруг влажные губы, послушно поцеловавшие мою царственную руку...

Это была встреча двоих, по разным причинам, но очень тогда необходимых друг другу. Это была встреча женщины, которой был нужен я, и это была встреча меня с единственной, самой нужной женщиной. Встреча без стыда, лучше сказать — в н е с т ы д а, праздновавшая своими тихими всхлипаниями победу над паршивой окраиной и героем этих задворков — особистом; соединившая опыт широких

померанских постелей и занимательную эротику предместий, утолившая нестерпимую грезу Митрохина и освятившая древний жест, нахально производимый мальчишками при девочках на кроличьей свадьбе.

Мандариновое солнце устало окуналось уже, когда за дверь послышалось вежливое покашливание.

— Бабка твоя! По-моему, она давно там сидит!

Мы выходили из комнаты, оставив в благодарность тете Дусе два бутерброда целых и один — почти целый, а также полбутылки вина, и увидели самое тетю Дусю, сидевшую возле двери на мешке с отрубями в пустом уже коридоре. Тетя Дуся дремала, слабо похрюкивая в легком сне.

Я коснулся ее телогрейки, надо было отдать ключ. Она вскинулась, хитро ухмыльнулась и сказала поразительную, почти сумароковскую фразу:

— Любовь — по естеству людям присуща!

На повечеревшей улице мы с моей подругой сразу же разошлись в разные стороны, потому что у Останкинского трамвайного круга могут встретиться нежелательные знакомые, сказала она, соскребая присохшую к зубам икринку.

Я же пошел прочь из студгородка (Пушкинского, не Алексеевского) и у последнего барака встретил Насибуллина, застенчивого и очень скромного паренька, который после школы охотно пошел в какое-то спецучилище.

— Доброго вечера! — сказал он вежливо, потому что всегда очень хотел сблизить свою старательно завоевываемую благодаря заботе общества интеллигентность с моей — врожденной, и, продолжая это сближение, застенчиво спросил:

— В Дрезденку ходил уже?

— Не-а!

— Сходи, не пропускай! — и, чтобы приохотить меня, поглядел по сумеречным сторонам, смутился-смутился и сказал:

— Там голышей много!

Десять лет назад Сергей Довлатов опубликовал свои записные книжки под заглавием «Соло на Ундервуде». Сейчас автор готовит к печати их следующий выпуск, но теперь книга будет называться «Соло на IBM», поскольку в нее войдут записи, сделанные уже в эмиграции. Предлагаем вниманию читателей некоторые из этих записей.



Сергей ДОВЛАТОВ

## СОЛО НА IBM

Дело было в кулуарах лиссабонской конференции. Помню, Энн Гетти сбросила мне на руки шубу. Несу я эту шубу в гардероб и думаю:

«Продать бы отсюда ворсинок шесть. И потом лет шесть не работать».

\*

Томас Венцлова договаривался о своей университетской лекции:

— У меня есть три разных лекции. За одну я беру триста долларов. За вторую — двести пятьдесят. За третью — сто. Но эту, третью, я вам не рекомендую.

\*

Как известно, все меняется. Помню, работал я в молодости учеником камнереза. (Комбинат ДПИ). И старые ра-

ботяги мне говорили:

— Сбегай за водкой. Купи бутылок шесть. Останется мелочь — возьми чего-то на закуску. Может, копченой трески. Или еще какого-нибудь говна.

Проходят лет десять. Иду я по улице. Вижу — очередь. Причем, от угла Невского и Рубинштейна до самой Фонтанки. Спрашиваю — что, мол, дают?

В ответ раздается:

— Как что? Треску горячего копчения!

\*

Было это еще в Союзе. Еду я в электричке. Билет купить не успел.

Заходит контролер:

— Ваш билет? Документы?!

Документов у меня при себе не оказалось.

— Идите в пикет, — говорит контролер, — для установления личности.

Я говорю:

— Зачем же в пикет?! Я и так сообщу вам фамилию, место работы, адрес.

— Так я вам и поверил!

— Зачем же, — говорю, — мне врать? Я — Альтшуллер, Лазарь Самуилович. Работаю в Ленкниготорге, Садовая, шесть. Живу на улице Марата, четырнадцать, квартира девять.

Все это было чистой ложью. Но контролер сразу же мне поверил. И расчет мой был абсолютно прост. Я заранее вычислил реакцию контролера на мои слова. Он явно подумал:

«Что угодно может выдумать человек. Но добровольно стать Альтшуллером — уж извините! Этого не может быть! Значит, этот тип сказал правду».

И меня благополучно отпустили.

\*

Чураков рассказал мне такую историю.

У одного генеральского сына, 15-летнего мальчика, был день рождения. Среди гостей преобладали дети военных. Явился даже сын какого-то маршала. Конева, если не ошибаюсь. Развернул свой подарок — книгу. Военно-патриотический роман для молодежи. И там была надпись в стихах:

**Сегодня мы в одном бою  
Друг друга защищаем,  
А завтра мы в одной пивной  
Друг друга угощаем!**

Взрослые посмотрели на мальчика с уважением. Все-таки стихи. Да еще такие, можно сказать, зрелые.

Прошло около года. И наступил день рождения сына маршала Конева. И опять собрались дети военных. Причем генеральский сын явился чуть раньше назначенного времени. Все это происходило на даче, летом.

Маршал копал огород. Он был голый до пояса. Извинившись, повернулся и убежал в дом. На спине его виднелась четкая пороховая татуировка:

**Сегодня мы в одном бою  
Друг друга защищаем,  
А завтра мы в одной пивной  
Друг друга угощаем!**

Сын маршала оказался плагиатором.

\*

Эмигрантка в Форест Хиллсе:

— Лелик, если мама говорит «ноу», то это значит — «ноу»!

\*

В Ленинград приехал Марк Шагал. Его повели в театр имени Горького. Там его увидел в зале художник Ковенчук.

Он быстро нарисовал Шагала. В антракте подошел к нему и говорит:

— Это шарж на вас, Марк Захарович.

Шагал в ответ:

— Не похоже.

Ковенчук:

— А вы поправьте.

Шагал подумал, улыбнулся и ответил:

— Это вам будет слишком дорого стоить.

\*

У одного знаменитого режиссера был инфаркт. Слегка оправившись, режиссер вновь начал ухаживать за молодыми женщинами. Одна из них деликатно спросила:

— Разве вам ЭТО можно?

Режиссер ответил:

— Можно... Но плавно...

\*

Реклама фирмы «Мейсис». Предложение Бахчаняна: «Светит Мейсис, светит ясный!..»

\*

Году в тридцать шестом, если не ошибаюсь, умер Ильф. Через некоторое время Петрову дали орден Ленина. По этому случаю была организована вечеринка. Присутствовал Юрий Олеша. Он много выпил и держался несколько похамски. Петров обратился к нему:

— Юра! Как ты можешь оскорблять людей?

В ответ прозвучало:

— А как ты можешь носить орден покойника?!

\*

Одного нашего знакомого спросили:

— Что ты больше любишь — водку или спирт?

Тот ответил:

— Ой, даже не знаю. И то, и другое настолько вкусно!..

\*

Умер наш знакомый в Бруклине. Мы с женой заехали проведать его дочку и вдову.

Сидит дочь, хозяйка продовольственного магазина. Я для приличия спрашиваю:

— Сколько лет было Мише?

Дочка отвечает:

— Сколько лет было папе? Лет семьдесят шесть. А может, семьдесят восемь. А может даже и семьдесят пять... Ей Богу, не помню. Такая страшная путаница в голове — даты, цены...

\*

Когда мы что-то смутно ощущаем, писать, вроде бы, рановато. А когда нам все ясно, остается только молчать. Так что, нет для литературы подходящего момента. Она всегда некстати.

\*

Гласность есть, а вот слышимость плохая. Многие думают: чтобы быть услышанным, надо выступать хором. Ясно, что это не так. Только одинокие голоса мы слышим. Только солисты внушают доверие.

\*

Мать говорила про величественного и одновременно беззащитного Леву Халифа:

«Даже не верится, что еврей».

\*

Звонит приятель Изе Шапиро:

— Слушай! У меня родился сын. Придумай имя — скромное, короткое, распространенное и запоминающееся.

Изя посоветовал:

— Назови его — Рекс.

\*

Либеральная точка зрения: «Родина — это свобода». Есть вариант: «Родина — там, где человек находит себя».

Одного моего знакомого провожали в эмиграцию. Кто-то сказал ему:

— Помни, старик! Где водка, там и родина!

\*

Известный диссидент угрожал сотруднику госбезопасности:

— Я требую вернуть мне конфискованные рукописи. Иначе я организую публичное самосожжение моей жены Галины!

## ПОЭЗИЯ



*Андрей ДЕМЕНТЬЕВ*

## АЗАРТ

### МОЛИТВА ШОПЕНА

В небе звездные россыпи.  
Тихий голос в ночи.  
Пощади меня, господи,  
От любви отлучи.

Наша сказка вечерняя  
Завершает свой круг.  
Отлучи от мучения  
Предстоящих разлук.

И меж синими соснами  
Мы простимся навек.  
Пощади меня, господи,  
Погаси этот свет.

Пусть все в жизни нарушится  
И потухнет душа.  
Отлучи от минувшего,  
Чтобы боль отошла.

От улыбки божественной  
И от слез отучи.  
От единственной женщины —  
Отлучи...

\* \* \*

В твоих глазах такая грусть...  
А я намеренно смеюсь,  
Ищу веселые слова,—  
Хочу тебя вернуть из прошлого.  
Ты не забыта и не брошена.  
Ты незамужняя вдова.

Я знаю: он разбился в Вишере —  
Твой автогонщик, твой жених.  
Теперь живешь ты за двоих.  
А все, кто рядом,—  
Третьи лишние.

Но двадцать лет — еще не возраст.  
Еще не плата за беду.  
Еще в каком-нибудь году  
Тебя вернет нам чей-то возглас...

Ты обернешься.  
И тогда  
Вдруг вспомнишь —  
Как ты молода...

## МЕСТО ВСТРЕЧИ

В этом мире бесконечном  
Как друг друга мы нашли?  
Я спешу к тебе навстречу.  
Место встречи — «Жигули».

Ты со мною сядешь рядом.  
Мы уедем от людей,  
Наш колесный домик спрятав  
В темном омуте ветвей.

Торжествуя и печалась  
И боясь встревожить нас,  
Где-то время мимо мчалось,  
В нас навек остановясь.

Мы простимся у подъезда.  
Вспыхнет свет на этаже.  
Увезу пустое место.  
С пустотою на душе.

\* \* \*

Сандаловый профиль Плисецкой  
Взошел над земной суетой.  
Над чьей-то безликостью светской  
Над хитростью  
И добротой.

Осенняя Лебедь в полете.  
Чем выше —  
Тем ярче видна.  
— Ну, как вы внизу там живете?  
— Какие у вас времена?

Вы Музыкой зачаты, Майя.  
Серебряная струна.  
Бессмертие —  
Как это мало,  
Когда ему жизнь отдана.

Во власти трагических судеб  
Вы веку верны своему.  
А гения время не судит.  
Оно только служит ему.

Великая пантомима —  
Ни бросить,  
Ни подарить.  
Но все на земле повторимо.  
Лишь небо нельзя повторить.

Сандаловый профиль Плисецкой  
Над временем —  
Как небеса.  
В доверчивости полудетской  
Омытые грустью глаза...

Из зала я —  
Как из колодца  
Смотрю в эту вечную синь.  
— Ну, как наверху вам живется? —  
Я Лебедя тихо спросил.

\* \* \*

*Р. Щедрину*

Я живу открыто.  
Не хитрю с друзьями.  
Для чужой обиды  
Не бываю занят.

От чужого горя  
В вежливость не прячусь.  
С дураком не спорю,  
В дураках не значусь.

В скольких бедах выжил.  
В скольких дружбах умер.  
От льстецов да выжиг  
Охраняет юмор.

Против всех напастей  
Есть одна защита:  
Дом и душу настезь...  
Я живу открыто.

В дружбе, в буднях быта  
Завистью не болен.  
Я живу открыто.  
Как мишень на поле.

### **АЗАРТ**

Мы скаковые лошади азарта.  
На нас еще немало ставят карт.  
И может быть,  
Мы тяжело рухнем завтра,  
Но это завтра...  
А сейчас азарт.



**МЫ РЕЧИ ПРОИЗНОСИМ**

Бывает,  
 Что мы речи произносим  
 У гроба  
 По написанной шпаргалке.  
 О, если б мертвый видел,  
 Как мы жалки,  
 Когда в кармане  
 Скорбь свою приносим.  
 И так же радость  
 Делим иногда,  
 Не отрывая взгляда  
 От страницы.

Еще бы научиться нам  
 Стыдиться.  
 Да жаль,  
 Что нет шпаргалки  
 Для стыда.

**ПОЛНОЙ МЕРОЙ**

Когда вас по глупости кто-то обидит,  
 Примите обиду легко и достойно,  
 Как шумного гостя  
 В домашнем застолье,  
 И вашей обиды никто не увидит.

Не стоит на мелочи тратить здоровье.  
 Смахните их шуткой,  
 Запейте их чаем.  
 Не эти обиды нам жизнь сокращают,  
 Не эти обиды смываются кровью.

Вот если к вам друг позабудет дорогу,  
 Когда ваша карта окажется битой,  
 И сердце займется тяжелой обидой,  
 И голос,  
 И взгляд ваш не скроют тревогу,—

Тогда пусть воздастся за все  
 Полной мерой!  
 Не стройте иллюзий,  
 Не прячьте обиды.  
 За все в этой жизни  
 Должны мы быть квиты —  
 За счастье с добром  
 И за подлость с изменой.

**ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В УДАЧЕ**

*О. Комову*

Друг познается в удаче  
 Так же порой, как в беде.  
 Если он душу не прячет.  
 Чувства не держит в узде.

Друг познается в удаче.  
 Если удача твоя  
 Друга не радует,— значит,  
 Друг твой лукав, как змея.

Или же горькая зависть  
 Разум затмила его,  
 И, на успех твой позарясь,  
 Он не простит ничего.

Он не простит... Но иначе  
Скажет об этом тебе.  
Друг познается в удаче  
Больше порой, чем в беде.

• \* \*

Поэзия жива своим уставом.  
И если к тридцати не генерал,  
Хотя тебя и числят комсоставом,  
Но ты как будто чей-то чин украл.

Неважно, поздно начал или рано,  
Не все зависит от надежд твоих.  
Вон тот мальчишка — в чине капитана,  
А этот старец ходит в рядовых.

Пусть ничего исправить ты не вправе,  
А может, и не надо исправлять,  
Одни идут годами к трудной славе.  
Другим всего-то перейти тетрадь.

### **БЕССОННИЦА**

От обид не пишется,  
От забот не спится.  
Где-то лист колыхнется —  
Пролетела птица.

Из раскрытых окон  
Полночь льется в комнату.  
С неба белый кокон  
Тянет нити к омуту.

Искупаюсь в омуте,  
Где кувшинки плавают.  
Может, что-то вспомнится,  
Что, как встарь, обрадует.

А рассвет займется —  
Может, все изменится.  
В душу свет прольется.  
Ночь моя развеется.

### **ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ**

Мы не похожи на своих детей.  
Как жаль,  
Что на детей мы не похожи.  
Они не просто трижды нас моложе,—  
Они честней в наивности своей.

Мы изменяем детству своему.  
И все,  
Чем в детстве так душа богата,  
Потом в себе мы прячем виновато.  
Едва ли понимая —  
Почему.

Как жалко, что мы с детством разлучились.  
И наши дети этот путь пройдут,—  
Восторг они заменят на учтивость,  
Доверчивости хитрость предпочтут.

Природа нам оказывает милость:  
Мы в детях повторяемся своих...  
Но не об этом мой наивный стих.  
Хочу,  
Чтобы в нас детство повторилось.

**ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ**

В присутствии дамы четыре поэта  
 Себя мушкетерами ей объявили.  
 Глаза ее  
 Всех четырех вдохновили,  
 И тут же была она в тостах воспета.

В любви объясняются ей мушкетеры.  
 А дама о чем-то грустит, улыбаясь...  
 И мудрый Атос,  
 Как подраненный аист,  
 В улыбке ее не находит опоры.

Шампанское кровь и беседу нагрело.  
 Как шпаги,  
 Блещут веселые взгляды,  
 И этой игре они искренне рады,  
 Где ревность без боли  
 И шутки без гнева.

О, как восхитительны эти поэты!  
 Она улыбается, глядя им в лица.  
 И все это было не с кем-то, не где-то,  
 А все это с нею сумело случиться.

Не видно в игре никакого изъяна,  
 Хотя отклонились они от сюжета.  
 И нет ни Констанции,  
 Ни д'Артаньяна,  
 А есть лишь четыре влюбленных поэта.

Она поздним вечером с ними простится.  
 И всем пожелает добра и удачи...  
 И все же Констанцией в дом возвратится  
 И ночью о том  
 О четвертом, заплачет...

**НАЧАЛО АПРЕЛЯ**

Сквозь снегопад  
 Пробилось утро.  
 Деревья тихие стоят,  
 Как бы догадываясь смутно,  
 Что скоро  
 Им менять наряд.

И средь пленительного бега  
 Мы общей радости полны.  
 Из царства трепетного снега  
 Вступаем в царство тишины.

А ты летишь на быстрых лыжах  
 В безмолвье леса —  
 Наугад.  
 И я тебя уже не вижу  
 Сквозь снегопад.  
 Сквозь снегопад.

*Тимур КИБИРОВ*

## ТРИ ПОСЛАНИЯ

*Отрывки из поэмы*

*Л. С. Рубинштейну*

Мрак да враг. Да щи, да каша.  
Грозно смотрит таракан.  
Я люблю Россию нашу.  
Я пропал, и ты — не пан.

Я люблю Россию, Лева,  
край белеющих берез,  
край гибели пуховой,  
рваных ран да пьяных слез.

Тараканы в барабаны.  
Вошки-блошки по углам.  
И мерещатся в тумане  
пролетарии всех стран.

И в сыром ночном бурьяне,  
заплутав, орет гармонь.  
Со свинчаткою в кармане  
ходит-бродит Угомон.

Бьют баклуши. Бьют кого-то.  
Нас пока еще не бьют.  
Бьют в господские ворота,  
только им не отопрут.

Мрак да злак, да футы-нуты,  
флаг-бардак, верстак-кабак,  
елки-палки, нетто-брутто,  
марш-бросок, пиздык-хуяк,

сикось-накось, выкрась-выбрось,  
Сивцев Вражек, иван-чай,  
Львов-Хабаровск, Кушка-Выборг,  
жди-пожди да не серчай!

Тройка мчится, тройка скачет  
в рыжей жиже по весне,  
злого ямщика хуячит  
злой фельдъегерь по спине.

По долинам и по взгорьям,  
рюмка колом, комом блин.  
Страшно, страшно поневоле  
среди неведомых равнин!..

\* \* \*

Слышу трели жаворонка.  
Вижу росы на лугах.  
Заливного поросенка.  
Самогонку в стаканах.

Это все мое, родное,  
это все хуё-моё!  
То разгулье удалое,  
то колючее жнивье,

то березка, то рябина,  
то река, а то ЦК,  
то ээка, то хер с полтиной,  
то сердечная тоска!

То Чернобыль, то колонны,  
то Кобзон, то сухогруз,  
то не ветер ветку клонит,  
то не Чкалов — это Руст!

То ли битва, то ли брюква,  
то ли роспись Хохломы.  
И на три веселых буквы  
посылаемые мы.

\* \* \*

На дорожке — трясогузка.  
В роще — курский соловей.  
Лев Семеныч! Вы не русский!  
Лева, Лева! Ты — еврей!

Я-то хоть чучмек обычный,  
ты же, извини, еврей!  
Что ж мы плачем неприлично  
над Россиею своей?

Над Россиею своею,  
над своею дорогой,  
по-над Летой, Лорелеей,  
и онегинской строфой,

и малиновою сливой,  
розой черною в Аи,  
и Фелицей горделивой,  
толстой Каткою в крови,

и Каштанкою смешною,  
Протазановой вдовой,  
черной шалью роковою  
и процентщицей седой,

и набоковской ванессой,  
мандельштамовской осой,  
и висящей поэтессой  
над Елабугой бухой!

Пусть вприсядку мы не пляшем  
и не окаем ничуть,  
пусть не в Сухареву башню  
нам с тобой заказан путь,

мы с тобой по-русски, Лева,  
тельник на груди рванем!  
Ведь вначале было Слово,  
пятый пункт уже потом!

Ведь вначале было Слово:  
несть ни эллина уже,  
ни еврея никакого,  
только слово на душе!

Только слово за душою  
энтропии вопреки  
над Россиею родною,  
над усадьбой у реки.

\* \* \*

Было ж время — процветала  
в мире наша сторона!  
В Красном Уголке бывало  
люди толпились дотемна!

Наших деток в средней школе  
 раздавались голоса.  
 Жгла сердца своим глаголом  
 свежей «Правды» полоса.

Нежным светом озарялись  
 стены древнего Кремля.  
 Силомером развлекались  
 тенниски и кителя.

И курортники в пижамах  
 покупали виноград.  
 Креп-жоржет носили мамы.  
 Возрождался Сталинград.

В светлых платяцах с бантами  
 первоклассницы смешно  
 на паркетах топотали,  
 шли нахимовцы в кино.

В плюшевых жакетках тетки.  
 В теплых бурках управдом.  
 Сквозь узор листвы нечеткий  
 в парке девушка с веслом.

Юной свежестью сияла  
 тетя с гипсовым веслом  
 и, как мы, она не знала,  
 что обречена на слом.

\* \* \*

Помнишь, в байковой пижаме,  
 свинка, коклюш, пластилин,  
 с Агнией Барто лежали  
 и глотали пертусин?

Как купила мама Леше  
 — ретрансляция поет —  
 настоящие калоши,  
 а в калошах ходит кот!

Почему мы октябрюта?  
 Потому что потому!  
 Стриженный под бокс вожатый.  
 Голубой Артек в Крыму.

И вприпрыжку мчались в школу.  
 Мел крошили у доски.  
 И в большом колхозном поле  
 собирали колоски.

Пили вкусное, парное  
 с легкой пенкой молоко.  
 Помнишь? Это все родное.  
 Грустно так и далеко.

Помнишь, с ранцем за плечами,  
 со скворешником в руках  
 в барабаны мы стучали  
 на линейках и кострах?

Помнишь, в темном кинозале  
 в первый раз пронзило нас  
 предвкушение печали  
 от лучистых этих глаз?

О любви и дружбе диспут.  
 Хулиганы во дворе.  
 Дачи, тучи, флаги, избы  
 в электричке на заре.

Луч на парте золотится.  
 Звон трамвайный из фрамуг.  
 И отличницы ресницы  
 так пушисты, милый друг!

В зале актовом плясали,  
 помнишь, помнишь тот мотив?  
 И в аптеке покупали  
 первый свой презерватив.

\* \* \*

На златом крыльце сидели  
 трус, дурак и сволота.  
 Выбирать мы не хотели,  
 к небу вытянув уста.

Знал бы я, что так бывает.  
 Знал бы я — не стал бы я!  
 Что стихи не убивают —  
 оплетают, как змея!

Что стихи не убивают  
 (убивают — не стихи!)  
 просто душу вынимают,  
 уголь горящий в грудь вставляют,  
 отрывают от сохи,

от меча и от орала,  
 от фрезы, от кобуры,  
 от рейсфедера с лекалом,  
 от прилавка, от икры!

Лотман, Лотман, Лосев, Лосев,  
 де Сосюр и Леви-Стросс!  
 Вы хлебнули, мудочесы,  
 полной гибели всерьез!

С шестикрылым серафимом  
 всякий рад поговорить!  
 С шестирылым керосином  
 ты попробуй пошутить!

С шестиствольным карабином,  
 с шестижильною шпаной,  
 с шерстобитною машиной  
 да с шестеркою гнилой!

С шестиярусной казармой,  
 с вошью, обглодавшей кость,  
 с голой площадью базарной,  
 с энтропией в полный рост!

\* \* \*

На мосту стоит машина,  
 а машина без колес.  
 Лев Семеныч! Будь мужчиной —  
 не отлынивай от слез!

На мосту стоит тачанка,  
 все четыре колеса.  
 Нас спасет не сердце Данко,  
 а пресветлая слеза!

На мосту стоит автобус  
 с черно-красной полосой.  
 Умирают люди, чтобы  
 мы поплакали с тобой!

На мосту стоим мы, Лева.  
 Плещет сонная вода.  
 В небе темно-бирюзовом  
 загорается звезда.

Так давай же поклянемся —  
 ни за что и никогда  
 не свернем, не отвернемся,  
 улыбнемся навсегда!

В небе темно-бирюзовом  
тихий ангел пролетел.  
Ты успел запомнить, Лева,  
что такое он пропел?

Тихий ангел пролетает,  
ангел смерти — Азраил.  
К сердцу рану прижимая,  
вот мы падаем без сил.

\* \* \*

Осененные листвою,  
небольшие мы с тобой.  
Но спасемся мы с тобою  
Красотою, Красотой!

Добротой и Правдой, Лева,  
Гефсиманскою слезой,  
влагой свадебной багровой,  
превращенною водой!

Дьявол в черном коленкоре  
рыльце лапками укрыл,  
злого гада свет с Фавора  
ослепил и оскопил!

Энтропии злые бесы  
убегают наутек!  
Он воистину воскрес!  
Поцелуемся, дружок!

Пусть мы корчим злые рожи,  
пусть кичимся злым умом,  
на гусиной нашей коже  
Агнца светлого клеймо!

И глядит ягненок гневный  
с рафаэлева холста,  
и меж черных дыр вселенной  
нам сияет Красота!

Мы комочки злого праха,  
но душа — теплым-тепла!  
Пасха, Лев Семеныч, Пасха!  
Лева, расправляй крыла!

Пасха, Пасха, Лев Семеныч!  
Светлой Новости внимли!  
Левушка, тверди каноны  
клейкой зелени земли!

В Царстве Божиим, о Лева,  
в Царствии Грядущем том,  
Лева, нехристь бестолковый,  
спорим, все мы оживем!

\* \* \*

Кончен пир. Умолкли хоры.  
Лев Семеныч, кочумай.  
Опорожнены амфоры.  
Весь в окурках спит минтай.

Не допиты в кубках вины.  
На главе венки измяты.  
Файбисовича картины  
пересмотрены подряд.

Кончив пир, мы поздно встали.  
Ехать в Люберцы тебе.  
Звезды на небе сияли.  
Песня висла на губе.



Как над этим дольным чадом  
в горнем выпрленном краю,  
отвечая смертным взглядам,  
звезды чистые поют.

Звезды чистые мерцают  
над твоею головой.  
Что они нам предвещают?  
Я не в курсе, дорогой.

Чистых голосов мерцанье  
над сияньем автострад.  
До свиданья, до свиданья!  
Я ни в чем не виноват!

До свиданья! До свиданья!  
Пусть впритык уже пиздец,  
но не лжет обетованье,  
но не тщетно упованье,  
но исполнятся Писанья!  
А кто слушал — молодец.

ПУБЛИЦИСТИКА.  
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА



*Эраст ГЛИНЕР*

## РАСТЕРЯННАЯ БЮРОКРАТИЯ И НЕИЗВЕСТНЫЙ НАРОД

1

Нет более ходячего и разрушительного предубеждения, чем то, что человеческое общество легко изменить по заранее предписанной модели. Прошли тысячелетия — тысячелетия попятного движения, в течение которых человечество в своих попытках построить совершенное общество все дальше и дальше уклонялось от соблюдения десяти простых заповедей. И в новое время даже такие великолепные лозунги, как свобода, равенство и братство, прежде всего приносили экономические потрясения и массовые убийства. Общество оказалось чрезвычайно сложной системой, непредсказуемо, но негативно реагирующей на попытки перестроить его на примитивно-идеологической основе.

Такова и фабула трагедии, начатой в Российской империи большевистской революцией. Сейчас, на ее последнем (последнем ли?) акте, все еще не догадаться, какова будет развязка, кто и что может влиять на нее... Между тем, это не вопросы только русских судеб. В условиях эко-

логического кризиса и перенаселения планеты, поведение народов «последней мировой империи», прежде всего русских, может оказаться исключительно важным в человеческой истории. Несомненно, именно это и прежде всего это соображение оказывает решающее влияние на «восточную» политику Запада и его отношение к советской перестройке.

Может ли перестройка иметь успех, ведя к экономическому оздоровлению СССР? Способно ли на это пестрое советское общество вообще? Если да, то при каких условиях и, что не менее важно, с какими политическими последствиями?

В терминах кибернетики любое общество — это большая система, стабилизированная «социальными обратными связями», охватывающими все, от общества в целом до индивидуума, члена общества. Понятие такой связи довольно просто. Это «информационная петля». Если, к примеру, рабочий штрафует за выпуск нестандартной продукции, то это обратная связь, которая заставляет его вернуться к технологическому стандарту. Она состоит из нескольких типических элементов: объект управления (сам рабочий), измерительное устройство (недреманное око технического контроля), управляющее воздействие (штраф), и т. п. Другие примеры: система наказаний вынуждает индивидуума следовать законам или обычаям, воспитание, совесть и реакция окружающих принуждают индивидуума к соблюдению определенных норм поведения... Практически, все социальные отношения между людьми реализуются как обратные связи. Это простой принцип, лежащий в основе саморегулирования общества.

Социальные обратные связи создаются потоками социальной информации. Роль информации в обществе обусловлена тем, что ее накопление и переработка есть основная функция человеческого сознания. Менее тривиально понимание, что социальные обратные связи существуют не сами по себе, а лишь в головах членов общества. Поэтому

их социальная иерархия (эффективность, приоритет, «шкала ценностей» и т. п.) зависит не только и не столько от абстрактных потребностей общества, сколько от всей сложной «кухни сознания и подсознания», смешивающей альтруистические и эгоистические начала, мысли и чувства, знания и предрассудки, совесть и атеизм, плохо понимаемое прошедшее и воображаемое будущее в один клубок, в котором роль внутренней жизни индивидуума не меньше, чем роль меняющихся внешних обстоятельств.

Этот конгломерат личности и общества есть культура. Именно культура (включая в это понятие писанные законы и традиции их выполнения) определяет поведение общества. Время, за которое культура может существенно измениться, измеряется скорее поколениями, чем годами. Поэтому в краткосрочной перспективе культура скорее стремится сохраниться в обстоятельствах, чем быстро приспособиться к ним. В этом смысле всякое общество консервативно. В своем большинстве культуры оставались и остаются почти неизменными на протяжении десятков и сотен поколений.

На этом фоне способность западной культуры сочетаться с быстрым интеллектуальным и технологическим развитием общества воистину уникальна. В ее сфере (которую, вероятно, можно назвать западным капитализмом) появились почти все научные и технические достижения человечества. Это привело к ослаблению экономического давления на западные общества, в конце концов открыв путь к превращению концепций индивидуализма и прав человека из утопий в достижимую социальную реальность. В этом отношении гуманитарные достижения западной культуры также уникальны.

Мы понимаем теперь, что невезение с попытками идеологически перестроить общество неизбежно начинается с разрушения культуры и присущих ей стабилизирующих обратных связей. Это превращает общество в несаморегулирующуюся систему. Власть, бывшая частью общест-

венного устройства, сменяется властью вне закона, вне культуры и вне исторического опыта. Она может быть только политическим авантюризмом, так как устойчивые общественные структуры слишком сложны, чтобы их можно было создать, предварительно рассчитав и сконструировав в человеческой голове. Они могут складываться только исторически.

Трудно сказать, неизбежны ли разрушительные «культурные революции». По-видимому, они всегда являлись следствием накопления проблем, которые общество было неспособно решить путем прагматического приспособления. Сама эта неспособность, однако, не кажется неизбежной для всякого общества. В отличие от революций, та или иная способность к прагматическому развитию есть часть культуры. Не в последнюю очередь эта способность обуславливается пониманием членами общества, что насильственная революция самоубийственна. Не исключено поэтому, что достаточно прагматичные общества могут избегать насильственных революций и следующей за ними затяжной агонии. Так или иначе, устойчивое развитие современного общества может обеспечить только осторожный прагматизм, при котором ошибки не фатальны. Это не означает замедление прогресса общества. Прагматическое развитие Западного общества происходит настолько быстро, что часто говорят о революциях, хотя это лишь процесс саморегулирования обществ в рамках присущей ему культуры.

## 2

Пытаясь приложить эти общие соображения к Советскому Союзу, мы сталкиваемся с одной, но чрезвычайной трудностью. Даже ограничиваясь собственно Россией, без ее окраин и колоний, мы вынуждены признать, что не знаем ее современной культуры даже приблизительно. Конечно, внешние черты этой культуры хорошо известны: от двойного «государственного стандарта» совести до лагерной

идеологии: «умри ты сегодня, а я завтра». Но как они повлияли на национальное самосознание?

Если судить по интеллигенции — гигантски. Скажем, дама, известный литератор и «почти диссидент», недавно уверенно заявила, что, если нужно, то для общего блага отдельная личность может быть принесена в жертву. (Когда в русской традиции выбор жертвы стоял вместо жертвенности?) На вопрос, готовы ли они лично привести в исполнение смертный приговор преступнику, 80% опрошенных ответили утвердительно. (А на Руси палач традиционно стоял вне общества.) В модных сетованиях о страданиях десятков тысяч советских парней в Афганистане забыты страдания, сознательно причиненные руками этих парней миллионам афганцев, включая детей и женщин... (Надо ли упоминать, что реакция американского народа на Вьетнам была прямо противоположной?) Наблюдения над перестроечной интеллигенцией, однако, не показательны. Большинство русского населения живет «далеко от Москвы». Кто они? А кто это знает? Даже крайние русские националисты скорее щеголяют лубочным фольклором, чем изучают, какова же реальная культура народа. Она, по существу, никому не известна.

Далеко от Москвы живет неизвестный народ. Его эксплуатируют, но боятся. Эта отчужденность народного духа от политической схватки — одно из трагичных обстоятельств перестройки — процесса, не только начатого сверху, но пока так и оставшегося верхушечным.

Постараемся, однако, понять, что могло бы быть сделано, если бы это оказалось совместимым с неизвестной подсоветской культурой.

Как уже было отмечено, разрушение культуры, или иными словами, идеологическое насилие, ведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому такие вопросы, как «в чем спасение: в капитализме или в выпрямлении социализма?», неуместны или опасны, они подразумевают не конструктив-

ный, а идеологический подход.

Вообще, расхожие идеологические лозунги возбуждающие, но неконструктивны. Скажем, лозунги социализма столь же далеки от социальной реальности, как пустое желание парить в небе — от Боинга-707. Они сочетаемы с широким спектром обществ, включая... капиталистические (пример — нацистская Германия). И о лозунгах капитализма можно сказать нечто похожее. Есть капитализм и капитализм; бедный капитализм, например, в Мексике, и богатый, например, в США. Причина — не в различии «собственности на орудия и средства производства», а в различии культур. На почве культуры, созданной не демократией предприимчивости, а десятилетиями лицемерия и рабского труда, семена капитализма могут дать совсем не тот плод, который многим советским визитерам мерещится из американского супермаркета.

Наиболее важно для текущего состояния советского общества на русских территориях, по-видимому, нарушение связей, регулирующих производительный труд, при одновременном сохранении численно гигантской «управляющей бюрократии». В условиях усиливающегося дефицита роль дифференцированной зарплаты и других выплат резко упала. Дискредитация партократии свела на нет такие психологические факторы, как надежды на будущее, карьеристские устремления или уверенность в незыблемости существующего порядка. Они сменились опасениями потрясений, которые еще более ухудшат условия жизни. Такой могучий «регулирующий фактор», как боязнь репрессий, все более теряет силу с приходом «еще не пуганного поколения» и с усиливающимся пониманием беспомощности и замешательства властей.

В данное время на пути централизованной перестройки стоит именно народ, производитель, замыслами которого в его попытке умереть завтра, а не сегодня, пока могут быть только обман, воровство, забастовки, бунты (поразительный итог освобождения труда!). Что потерявшая доверие

власть может сейчас противопоставить этому, кроме силы оружия, которое заодно с бунтовщиками похоронит и саму перестройку, гласность и надежды Запада на конструктивное сосуществование с Россией?

Отчуждение и враждебность «неизвестного народа» по отношению к деятелям перестройки все усиливается. Победит та тенденция, совсем не обязательно перестроечная, за которой пойдет этот народ, все более желающий порядка и твердой власти. Вера в слова сверху кончилась полностью и окончательно — и заодно во все слова вообще. Если бы даже правящая элита знала, как нажать на свои командные рычаги управления, чтобы выйти из кризиса, она едва ли могла бы еще успеть ими воспользоваться. Потерявший веру народ не станет годами ждать еще одно советское экономическое чудо.

Преодолеть отчуждение народа можно, только дав ему действовать, почувствовать, что он взял, хотя бы в чем-то важном, свою судьбу в свои руки.

Кто же увлечет просыпающийся народ? Фашиствующие лидеры? И тогда порядок начнется с кулаков, которые заткнут все глотки... Лидеры, вышедшие из его собственной среды? И тогда волна забастовок — морально оправданных нескончаемыми страданиями — погубит все, что уже достигнуто перестройкой политически, ибо напуганным властям останется только снова хватить кнутом загнанную клячу советской истории.

### 3

Таким образом, перестройка должна найти особый путь восстановления обратных связей, организующих производительный труд, путь, который превратил бы неизвестный народ из начала критического в начало деятельное. Это значит, что декретированием сверху управление обратными связями надо переместить вниз, передав его в руки народа, т. е. демократизировать экономику. Но

как быть с бюрократией, этой белой костью в горле, из-за которой буксует верхушечная перестройка? Справедливо дать ей умереть с голоду. Но это путь к гражданской войне. Следовательно, ее надо адаптировать. Таким образом, перед нами уравнение «с двумя неизвестными». Его прагматическое решение могло бы означать необходимость:

- передать право окончательных решений вниз, скажем, дав отдельному хозяйству решать, что ему производить (ячмень или кукурузу, танки или колыбели), почем продавать и как использовать доход.

- сделать договорные отношения, в которых хозяйство — равноправный партнер, единственной формой отношений с хозяйством;

- сохранить существующий бюрократический аппарат управления хозяйством, но решительно изменить его функции на координационные (информация, посредничество, консультации и т. д.); \*

- оплачивать этот аппарат за счет государственных средств, но не в форме «жалования», а за конкретно выполняемые работы; тем самым, с одной стороны, государство предоставляло бы производителям бесплатные услуги, стимулирующие экономику, а с другой, заставляло бы бюрократический аппарат приспособляться к спросу и, в конечном счете, найти свое место в новой экономической системе;

- вместо бесстыдного присвоения прибавочной стоимости, финансировать государственные нужды за счет твердого налога (скажем, 30% продукции в стоимостном выражении или натурой);

- предоставить хозяйствам права делиться, объеди-

---

\* При таком переходе численность бюрократического аппарата многократно уменьшится; его функции нормализуются в демократическом смысле последнего слова, соответственно уменьшатся его полномочия и привилегии. Трудно ждать добровольного согласия тоталитарной бюрократии на подобные перемены.

няться, создавать новые хозяйства, тресты и т. п.;

- сделать банковскую систему более подчиненной закону, а не власти;

- сделать рабочих и служащих акционерами хозяйств, скажем, кредитую последние за счет пока существующей недостаточной оплаты труда, неизбежной еще долгие годы.

Зарплату сразу следует повысить до справедливого уровня — хотя бы за счет временно не выплачиваемой наличными, но выдаваемой в акциях хозяйства части.

Разумеется, рассматриваемый путь вводит в игру «слепую стихию», причем в крайне сложном социальном процессе. Но по причинам, упомянутым выше, правление сверху может быть только экономическим и политическим авантюризмом. В отличие от этого, бастующие шахтеры оказались способными к самоорганизации, реалистичны и поддерживают в своей среде жесткий порядок, вплоть до трезвости, оставшейся лишь дорогостоящей маниловской мечтой Горбачева.

При демократизированной экономике для производителей и объединяющих их организаторов производства были бы определенные возможности для предприимчивости, имеющей осязаемые цели (для начала, рост зарплаты, строительство жилых домов за счет дохода предприятия, натуральный обмен — после десятков-то лет индустриального развития! — его продукции на мыло и т. д.). Неизвестный народ был бы поглощен решением насущных проблем и посредством этого проблем, оказавшихся плановой перестройке не по зубам. Бюрократия получила бы перспективу влиться в общий процесс без полной потери престижа, чтобы снова сесть на шею производителям. Власть, в пределах относительно безопасной для гражданских свобод 30% налоговой нормы, снова старалась бы, возвеличивая себя, объявить страну великой. (И кто знает... Ведь от смешного до великого действительно один шаг!)

Короче, демократизация экономики, в принципе, могла бы восстановить общество, как самоорганизующуюся, праг-

матично приспособливающуюся систему. И это, видимо, единственная альтернатива насильственному перевороту, который провоцируется неудачами перестройки, насаждаемой сверху наподобие оккупационных проскрипций.

Высказанные соображения, конечно, не план, а лишь идея перехода к почти рыночной экономике на основе того, что осталось в наличии после 70 лет планируемого авантюризма. С экономической точки зрения это, во всяком случае, не глупее, чем надежда на то, что миллион всеми ненавидимых кооператоров из ничего сделают параллельную экономику, процветающую рядом с гниющей антирыночной, социалистической.

Более того, высказанные соображения, вероятно, не совсем новы или даже совсем не новы. Проблема не в новизне, а в практике. Дай народу чуть-чуть власти и он заберет ее всю — эта вечная боязнь слуг народа родила уникальную диалектику подавления — путем разрешения запрещать. Скажем, законопроект о разрешении забастовок запрещает их во всех «жизненно-важных» областях, а в остальных (кооперативное производство сувениров?) предусматривает изматывающий предварительный арбитраж (понимай: выявление смутьянов, уговоры, угрозы, превентивные аресты...) Итак, требуемые реформы должны подняться над бесплодной диалектикой отрицания отрицания.

## 4

Бесцензурная демократизированная экономика — это экономический аналог гласности. Но в отличие от гласности, она окажется в руках не болтливой интеллигенции, а мускулистого большинства, которое ототрет партийную элиту от экономического пирога надежнее, чем гласность оттерла ее от политического. Таким образом, с одной стороны, успех перестройки зависит от того, привлечет ли Гор-

бачев к творчеству умы неизвестного народа. Но с другой стороны, платой за это будет постепенное устранение из жизни общества умов, творчески развивающих самое передовое в мире учение. На что он решится?

Можно ли допустить, что советский лидер, предусмотрительно оградивший себя выборным законом даже от выборов, согласился бы на такой финт? Будем, однако, беспристрастны. Вспомним об его относительно удачном детище — гласности. Ожидал ли он или не ожидал замаха гласности на те институции, которые он сам олицетворяет, но фактом остается то, что он удержался от соблазна ее подавить, в отличие от всех своих предшественников, начиная с Ленина. Подождем — увидим, войдет ли Горбачев в демократические ворота или станет насмерть в их открытом проеме, пытаясь остановить ветер перемен. Ждать-то осталось недолго...

Итак, основной вывод заключается в том, что перестройка могла бы состояться, развязав целенаправленную инициативу снизу, которая преодолела бы накопившиеся горечь, отчаяние, недоверие и культурную бесформенность. На этом пути, если ему следовать недвусмысленно, формировалась бы и новая культура, по сути дела демократическая.

Идея о неизбежности формирования демократической культуры при реальной перестройке подводит нас вплотную к парадоксу, типичному для современного состояния политической мысли в Советском Союзе. Слово «перестройка» непрерывно склоняется, но оно никак не определено властью в конкретных терминах применяемых средств. намеченных целей и результатов, ожидаемых в фиксированный интервал времени. Власть как бы хочет сделать так, чтобы «все было хорошо», не зная «что такое хорошо», так как пока усвоила только «что такое плохо». Наше рассмотрение показывает, что реальная перестройка может быть только демократическим путем к демократической культуре.

Что разумнее для Запада, помогать перестройке или держаться в стороне?

Успех перестройки в прагматичных рамках экономической демократизации, разумеется, лучше любой диктатуры, которая, замахиваясь ядерной бомбой, еще многие годы будет держать в заложниках все остальное человечество. Но возможность успеха — не более, чем гипотеза, предполагающая, что господин Горбачев (или сменивший его господин) войдет в открытые ворота. И если войдет, то справится с молчаливой, но грозной непокорностью народа, пережившего десятки лет преступного подавления своего самосознания, уничтожения своих наставников и селекции инакомыслящих. Не окажется ли, что ущерб, нанесенный этим русской культуре, так велик, что широкая инициатива снизу уже невозможна, и неосмотрительная помощь Запада только позволит советским властям справиться с кризисом и продолжить свою безумную политику заложничества?

Никто не может ответить на этот вопрос, кроме самого неизвестного народа, что и станет его самоидентификацией.

*Некоторое время назад в «Литературной газете» под рубрикой «Политическая трибуна» было опубликовано интервью обозревателя газеты Г. Целмса с доктором философских наук Игорем Клямкиным и кандидатом исторических наук Андраником Миграняном. «Путь к демократии через диктатуру», «Требуется Комитет национального спасения», «Демократия нужна лишь для усиления власти лидера» — таковы лишь некоторые из соображений, высказанном в этом дискуссионном интервью, напечатанном под заголовком «Нужна железная рука?» Интервью это отражает глубокий кризис, переживаемый советским обществом, и вместе с тем показывает, как этот кризис оценивается советскими политологами изнутри и каковы предлагаемые ими пути выхода из тупика. Ниже мы приводим текст интервью и комментарий Петра Болдырева.*

## НУЖНА ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА?

**Корр.** Если судить по вашим выступлениям в различных аудиториях и отчасти в печати, вы последовательно высказываетесь за усиление личной власти лидера государства в момент перестройки. Значит ли это, что вы сторонники авторитарного режима?

**А. Мигранян.** Признать объективную необходимость усиления власти при переходе от тоталитарного режима к демократии вовсе не значит быть в восторге от авторитаризма. Но коли переход к демократии — и в этом я глубоко убежден — лежит только через это...

**И. Клямкин.** Вообще мы сегодня много говорим о демократии, но ни слова о путях перехода к ней. Говорим о проблемах рынка и молчим о путях перехода от нетоварного хозяйства к товарному, от одномерного общества к многомерному. А в этом переходе как раз и есть проблема проблем.

Такой переход может быть осуществлен только системно. С этим вроде никто не спорит, но системность перехода понимается весьма абстрактно. Вот, мол, есть одна система, одна модель социализма (сталинская), для которой характерен командный способ управления хозяйством, формально-показная демократия и «монолитное единство» в идеологии. Эту систему надо заменить другой, в которой экономическим, хозяйственным отношениям будет соответствовать плюрализм в политике (демократическое представительство интересов) и в

духовной сфере. Все это не столько же бесспорно, несколько и бессодержательно.

Примерно на таком же уровне видит проблему и обыденное сознание. У огромной массы народа нет четкой демократической альтернативы. Есть неприятие существующего, отталкивание от него. Есть рассуждение типа: «На Западе хорошо, нам надо бы, как на Западе». Но западные демократии складывались веками...

*А. М.* Во Франции, например, потребовалось два столетия и неисчислимое количество революций, диктатур, охлократий, смен монархических форм правления на республиканские и обратно. Почти двести лет ушло на то, чтобы подготовить к демократии социально-классовую структуру, национальный характер, выработать соответствующую политическую культуру.

*И. К.* На Съезде народных депутатов СССР «демократическое меньшинство» требовало немедленной и полной демократии. Что ж, это понятно, депутаты повязаны своими избирателями, логикой стихийного движения, которое, отталкиваясь от тоталитаризма, устремляется в противоположную сторону. К демократии. Но при этом демократия понималась как некая негативная проекция того же самого тоталитаризма. Подобное Гегель обозначал как метафизическое отрицание.

Вот, казалось бы, чрезвычайно привлекательна позиция Сахарова. Но ведь это лишь некий нравственный ориентир общества, его идеал. Мы же говорим о путях перехода.

И новые выборы, и Съезд, и недавняя сессия нового парламента показали, что очень большие массы общества переросли прежние структуры, но... исторически не выросли еще в нечто принципиально иное. Ни одной новой структуры, способной заменить старые, не зародилось. В этом кризисность и опасность современной ситуации.

*Корр.* А разве Съезд народных депутатов — не свидетельство зарождения такой структуры?

*А. М.* «Вся власть Советам!» — хороший лозунг. Но сегодня съезд не может взять всю власть. И не только потому, что этому противостоит партаппарат. Он в принципе взять власть не может. Дело в том, что мы не имеем так называемого гражданского общества. То есть общества, отчлененного от государства. В итоге у нас и государства-то реального нет.

*Корр. ??*

*А. М.* Ну в том смысле, что раз нет гражданского общества, то есть нет расслоенных групп — носителей выраженных интересов, соответственно нет и институализации или канализации этих интересов, что послужило бы основой реального государства. Вот и получается, как сказал Андрей Дмитриевич Сахаров, мы начинаем строительство нового государства с крыши.

Емельянов же говорил: народ выше партии, Съезд народных депутатов выше съезда партии, Верховный Совет выше ЦК, и потому власть

надо передать именно сюда, переместить всю полноту власти от партийных структур к государственным. Но беда в том, что, пока, как я уже говорил, мы не имеем реального государства, перемещать некуда.

На Западе один известный политолог написал: «Гласность против перестройки». Я бы сказал иначе: демократия против перестройки.

*Корр.* А разве демократия не цель и не средство перестройки?

*А. М.* Весь путь мировой цивилизации показывает, что модернизация режимов, подобных нашему, совершалась асинхронно. Сначала шла модернизация в духовной сфере (у нас это уже отчасти произошло), затем модернизировалась экономика, то есть вызревали реальные интересы в обществе и происходила дифференциация форм собственности. Так образовалась некая горизонтальная структура — «гражданское общество». И тогда, только тогда осуществлялось изменение политической системы, закрепление в ней представительств реальных интересов.

*Корр.* Разве недавние трагические события в Китае не показывают нам, как опасно реформировать экономику, ничего не меняя в политической системе?

*А. М.* Да, опасно запаздывать при переходе к следующему этапу. Трагедия в Китае это хорошо иллюстрирует. Тем опоздали с проведением политических реформ...

Всякая аналогия условна, но я сошлюсь на реформу Александре II, итог которой, как мне кажется, подкрепит мою мысль. Я категорически не согласен с Гавриилом Поповым, который считает половинчатость, робость реформы Александра причиной трех русских революций. Думаю, что его бессмысленное убийство, которое, как известно, привело к наступлению реакции, не позволило в итоге подключить к политической сфере конфликтующие интересы. А ведь только это могло послужить их гармонизации. Вот и начался конфликт за конфликтом.

*И. К.* Здесь я с Андраником совершенно не согласен. Переход от дотоварной экономики к товарной, к рынку никогда и нигде, ни у одного народа не осуществлялся параллельно с демократизацией. Политическим переменам всегда предшествовало более или менее длительное господство авторитарных режимов. Это подтвердила вся мировая практика и XVIII, и XX века. Возьмем Англию, Францию, Испанию, Португалию, страны Латинской Америки. Абсолютистский режим создавал национальный рынок. При этом всегда возникали острейшие противоречия, гигантские центробежные силы.

Если режим с ними не мог справиться, ему на смену приходил новый авторитарный режим бонапартистского типа, который решал те же самые задачи. Но уже более жестко. Наполеон — это ведь не только диктатура, но и «кодекс Наполеона» (правовая реформа), закрепление прав собственности, развитие рынка. То есть он железной рукой создавал условия для согласия, гармонизации.



*А. М.* Наше общество вроде бы должно считаться индустриальным. Но в силу одномерности нашей экономики мы ближе, я думаю, к так называемым традиционным обществам. Поэтому нам следует оглядываться на соответствующие страны. На их переход. Нигде, ни в одной стране ни разу не было прямого перехода от тоталитарного режима к демократии. Существовал обязательный промежуточный авторитарный период.

*Корр.* Признаюсь, в моем сознании «тоталитарный» и «авторитарный» режимы — синонимы...

*А. М.* Кратко их разведу. Без этого не прояснить свою позицию. При тоталитарных режимах исчезает грань между политической и неполитической сферами жизни (языкознание, например, становится политической). Абсолютно вся жизнедеятельность общества оказывается регламентированной. Во всем требуется единогласие и единомыслие. Власть на всех уровнях формируется по закрытым каналам. Авторитарный же режим, хотя и концентрирует всю власть в одних руках, допускает размежевание и даже поляризацию сил и интересов. При этом не исключаются определенные элементы демократии — выборы, парламентская борьба. Правда, все это строго регламентируется.

При авторитарном режиме общество расслаивается и вызревают различные интересы. И вот в тот момент, когда носители их готовы кинуться друг на друга, чтобы перегрызть глотку, «сильная рука» не допускает до этого. Так постоянно создаются условия для гармонизации интересов, а значит, для демократических реформ. Прыжок через исторический этап никому еще не удавался.

*И. К.* Если мы претендуем на параллельность экономических и политических реформ, значит, мы не знаем (не хотим знать) всего мирового опыта. Или же опять претендуем на особую роль в истории, на исключительность. Хорошо известно, куда подобные претензии завели.

*Корр.* И все-таки корректно ли сравнивать нас с «традиционным обществом»? Мы ведь осуществляем перестройку в эпоху НТР. Всеобщая грамотность населения тоже отличает нас от «традиционных обществ». Можно назвать и другие качества, доказывающие наличие особых условий перехода.

*И. К.* Согласен, плюсы есть. Но есть и значительные минусы. Ни одна из названных нами стран не осуществляла переход при полном уничтожении рынка, при тотальном огосударствлении экономики. И сегодня мы начинаем движение, скажем, к рынку с помощью государства, которое исторически утвердилось, разрушив рынок дотла. Мы хотим также, чтобы партия, провозгласившая, что она руководствуется делом, которое выше денег, теперь бы с энтузиазмом стала внедрять рынок...

Никто, даже страны социализма, не начинал свой переход с этой точки. В Венгрии, например, не было такой коллективизации, как у нас. В Китае тоже сохранилось крестьянство. Там не успели подрубить и выкорчевать все корни. У нас же три поколения жили в представлении, что

наша форма собственности всегда и во всем превосходит частную собственность. Предприимчивость сохранилась разве что в нелегальной экономике. Словом, мы начинаем с нуля.

*А. М.* Именно потому, что, повторюсь, у нас нет гражданского общества даже в зародыше, я был вообще против Съезда. Ведь он, кроме иллюзий демократии, ничего реального дать не мог. Объективно не мог, а вовсе не из-за «козней аппаратчиков». Иллюзии же вещь опасная. Они порождают разочарование и в конечном счете ведут к дестабилизации общества, что мы уже наблюдали, и, увы, это нам еще предстоит наблюдать.

Впрочем, Съезд имел бы смысл лишь при одном условии. Если бы он признал: страна в кризисе, экономика в развале, социальная ситуация катастрофическая, международные отношения зашли в тупик...

*Корр.* Но именно это Съезд и признал...

*А. М.* Я не закончил мысль. Исходя из этого признания, Съезд, на мой взгляд, должен был вручить мандат президенту на особые, чрезвычайные полномочия. И дать ему возможность сформировать Комитет национального спасения, прекратив, понятно, на это время действие всех остальных институтов власти. Меня тут легко обвинить в пристрастии к диктатуре. Да, я в настоящий момент за диктатуру, за диктатора. Но лучше диктатура персонафицированная, чем так называемое «коллективное руководство».

Конечно, главе такого комитета нужно вручить реальную программу спасения и ограничить срок его полномочий.

*Корр.* «Чрезвычайные меры», «особые полномочия»... От таких слов холодок по коже. Диктатор ведь, став диктатором, наплюет на все ваши программы и ограничения.

*И. К.* Думаю, что подобного исхода у Съезда в принципе быть не могло. На это не пошли бы ни аппаратчики, ни демократы. Для аппаратчиков голосовать за диктатора — голосовать за конец своей власти. Для демократов его поддержка — предательство собственных принципов, выступление против своих избирателей.

*А. М.* Вот я и говорю, что Съезд вообще не стоило бы созывать. Гораздо лучше было бы, чтобы наш лидер получил усиление своей власти аппаратным путем. Как это было, например, в Венгрии с Яношем Кадаром и в Китае с Дэн Сяопином.

Глубина национального кризиса в таких странах, как Китай, Польша, Венгрия, дала возможность сформироваться достаточно реформистски ориентированной группе, которая, придя к власти, смогла двинуть общество по пути модернизации, не прибегая к каким-то параллельным силам.

Все, думаю, зависит от степени осознания высшим руководством глубины кризиса, в который зашло общество. Это и становится первичным импульсом: чувство самосохранения.

Аппаратный путь явно предпочтительней. Но мы вступили на путь дестабилизации, когда дестабилизировано все — и высший эшелон, и низовые структуры. Это и есть уникальность нашей ситуации, которая меня пугает. Непредсказуемы оказались даже наши первые шаги. А в странах, о которых шла речь, и десятые, и двадцатые шаги были рассчитаны.

Массы врываются в политику со своими интересами, но нет, не существует необходимого механизма, способного все это переварить и гармонизировать.

Конечно, возможен и иной путь, и сразу скажу, его я боюсь меньше: консервативные силы на время прерывают процесс перестройки и вводят все в русло стагнации. Плохо, безусловно, но лучше, чем неуправляемый разгул страстей. Впрочем, можно проскочить между Сциллой и Харибдой, если идти через демократическую диктатуру, как ни странно это словосочетание звучит. Многие на Съезде наивно призывали: «Михаил Сергеевич, оставьте свой пост в партии. Будьте «детищем перестройки». Но в этом предложении была заключена гибель. И для самого Горбачева, и для перестройки. Потому, что вместо усиления власти лидер-реформатор ее вообще утратил бы.

*И. К.* Да, Брежневу для сохранения «статус-кво», иначе — застоя, власти было вполне достаточно. Для реформатора же, естественно, ее нужно гораздо больше. Ведь предстоит ломка и дестабилизация как наверху, так и внизу. Верхний слой, на который опирался реформатор, не заинтересован в проведении радикальных реформ, потому что он руководствуется своими корпоративными интересами. Правда, наиболее реалистичная, патриотически настроенная часть этого слоя постепенно начинает себя осознавать представителями общенациональных интересов и примыкает к реформатору. Так создается реформаторское ядро. Но процесс идет дальше, и вот уже становится очевидным: чего-то там подкрутить, поменять, переукрасить недостаточно. В этот момент лидеру-реформатору требуется дополнительная порция власти.

Как ее получить? Аппаратный путь к этому сегодня вряд ли возможен. В условиях, когда страна уже раскачалась, когда появилась гласность, аппарат насторожен. Он бдит. А время меж тем не ждет, поджимает. Бездна-то рядом. Аппаратные же манипуляции могут растянуться на годы.

Итак, остается единственная возможность: получить дополнительную власть от народа. То есть в данном случае демократизация нужна не для осуществления реформ, а для усиления власти лидера.

Вот почему я берусь оспаривать тезис, что Съезд, мол, собирать было не нужно. Нужно было! И не для того, чтобы наделить лидера чрезвычайными полномочиями. Во-первых, это опасно. Во-вторых, как я уже говорил, никто из депутатов на это не пошел бы. И все-таки Гор-

бачев получил на Съезде мандат представителя народа. И создание второй структуры власти увеличило его власть и возможности для политического маневра. А значит, и для проведения реформ. Все-таки законодательный орган — Верховный Совет — комплектуется особо. И это позволяет, когда нужно, противостоять аппаратным структурам. А ситуация подпирает. Корпоративные интересы начинают трещать по всем швам. Возникает настоятельная необходимость переложить ответственность (или часть ее) на общество, на новую структуру, сохранив при этом власть за собой. Пусть чуть меньшую, но еще достаточно большую.

*А. М.* И все-таки остаюсь при своем мнении: Съезд не столько увеличил власть реформатора, сколько послужил увеличению дестабилизации.

*Корр.* Я хочу вернуться к вашей изначальной мысли: перво-наперво экономическая реформа, а затем уже политическая, затем демократия. Мы ведь уже пробовали так не раз. И Хрущев, и Косыгин пытались реформировать экономику, ничего не меняя в политической системе. Да и первые годы нынешней перестройки показали: экономреформа не идет. Ее блокирует архаичная политическая система. Это первое. Ну и второе — вопрос такой я уже задавал, но ответа на него не получил: какой реформатор, став диктатором, захочет проводить реформы, ограничивающие его власть?

*И. К.* Ни Хрущев, ни Косыгин и не пытались провести принципиальные экономические изменения. Ни многоукладности экономики, ни разнообразия форм собственности никто из них и в мыслях не имел. Да и власти у них для реформ, как выяснилось, оказалось мало. Но согласен: старая политическая структура мешает реформам. И ее следует демонтировать. (Такой демонтаж идет, но, увы, пока на второстепенных участках.) Однако целью демонтажа, и это надо сознавать, должно быть не развитие демократии, а усиление власти лидера-реформатора. Демократизация, как уже мы не раз говорили, вовсе не способствует реформам. Вот, допустим, реформатор выступает за введение рынка. Можно ли сделать это, опираясь на массы? Нет, конечно! 80 процентов населения его не примут. Рынок ведь означает расслоение, дифференциацию по уровню доходов. Надо очень много работать, чтобы хорошо жить.

*А. М.* Рынок — это постоянная борьба, риск, возможность не только разбогатеть, но и разориться дотла.

*И. К.* Вот почему в программах у лидеров, поддерживаемых массами (таких, как Ельцин, например), о рынке сказано как бы сквозь зубы. А главное: ликвидировать четвертое управление, поделить по справедливости все блага...

*А. М.* Когда массы подключаются к решению серьезных вопросов, они решают их зачастую себе во вред, опираясь скорее на популист-

ские настроения, чем на серьезные идеи. Поэтому у масс серьезному реформатору на успех рассчитывать не приходится.

*И. К.* Что же касается узурпации власти, такой вариант исключить нельзя. И Луи Бонапарт, и Гитлер пришли к власти путем всенародного волеизъявления — выборов, а затем стали делать со своими избирателями все, что только хотели... И все-таки сегодня можно говорить о существовании определенных гарантий против этого. Во-первых, они заложены в самой технологии современного производства. Нынче страхом мало кого заставишь хорошо работать. Уровень технологии требует от работника внутренней мотивации. Внешний, «палочный» контроль становится абсолютно не эффективен.

*А. М.* Ну, и, конечно, гарантии заключены в самом факте существования нынешнего мирового сообщества. Эшелон высших руководителей должен постоянно учитывать, какое место занимает страна в системе мировых связей, каковы ее геополитические интересы. И чем дальше, тем больше. Поэтому политик, стоящий даже во главе тоталитарного государства, вынужден оперировать масштабами страны в целом, сохранять ее статус. Когда ресурсов на это не хватает, политик начинает думать, что следует изменить. Так возникает «новое мышление». Кстати сказать, в тоталитарных режимах существует разрыв между мировоззрением руководителей высшего и любого другого ранга. Те, последние, чаще всего не способны почувствовать и понять вызов мира. Поэтому они более консервативны. И между «верхом» и «низом» назревает конфликт.

Не случайно наша реформа идет сверху вниз.

*И. К.* Брежнев всю внешнюю политику строил на военном паритете. Пока он удавался, внутри страны можно было ничего не менять. Но после смерти Брежнева выяснилось, что евrorакеты по точности превосходят наши. И эта точность нам недоступна. Тогда, как бы вне очереди (на очереди-то был Черненко), лидером становится Андропов. Его выдвигают, потому что он способен хоть немного, но отойти от безнадежной политики Брежнева. Отход, правда, половинчатый. «Нулевой вариант» мы еще не в состоянии принять. Но все-таки перемена мышления началась, и это приводит к внутренним реформам.

*А. М.* Вся история подтверждает такую схему. Поражение России, скажем, в Крымской войне, угроза ее статусу приводит к модернизации. Потерпели сначала поражение от Наполеона — и при Александре I появляются Сперанский, Чарторыйский. Но лишь одолели Наполеона — откат назад. Если мы побеждаем старыми средствами, то укрепляется позиция, ничего менять не надо.

*Корр.* Если признать вашу правоту и путь к демократии лежит исключительно через авторитаризм, что делать в такой ситуации демократам? Поддерживать неограниченную власть лидера? Но это ведь измена своим собственным принципам и идеалам...

*И. К.* Проблема серьезная. Что делать в таких условиях мне, человеку демократических убеждений? Слиться с таким режимом? Но я не хочу с ним сливаться. Я не хочу сливаться с любым диктатором, даже если он станет таковым во благо демократии. Я хочу иметь право отстаивать свое «демократическое мнение». Критика лидера слева будет подталкивать его к более решительным мыслям и действиям. Кроме того, когда будет два фланга — левый и правый, у лидера появятся большие возможности для маневра.

*А. М.* Позволил бы себе высказать и такую мысль: главная ошибка «демократического меньшинства» на Съезде заключается в том, что его выразители не дистанцировали себя от Горбачева. Сделай они это, оказали бы Горбачеву большую услугу — помогли бы ему обрести большую независимость.

*Петр БОЛДЫРЕВ*

## СПАСЕТ ЛИ «ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА» ЭКОНОМИКУ СССР

Короткие газетные сообщения: «Москва, 19 декабря 1989. Съезд Народных Депутатов 1.532 голосами против 419 при 44 воздержавшихся утвердил разработанную правительством экономическую программу, сохраняющую систему централизованного планирования, контроль над ценами и закрепляющую за государством командные высоты на всех уровнях производства».

Вот вам и экономическая реформа — громогласно разглашенная по всему миру центральная задача перестройки! Выходит, правы участники дискуссии в «Литгазете», когда ратуют за предоставление правительству во главе с лидером-реформатором — «Комитету национального спасения» — чрезвычайных полномочий. В противном случае можно предположить, что не получившее таких полномочий правительство пойдет на поводу у господствующего в стране «общественного мнения», выраженного в результатах голо-

сования. И составит такой экономический план, которому заранее будет обеспечена поддержка большинства на Съезде народных депутатов. То есть получится все так, как предупредил в одном из своих публичных выступлений председатель Госкомиссии Совмина по экономической реформе, «первый экономист страны» акад. Л. Абалкин. Признав экономическое положение в стране катастрофическим, он просил от общественности только одного — не мешать. «Помощь общественности, мне кажется, сегодня скорее нужна даже не столько в разработке программ, сколько в их воплощении». Перефразируя классическую формулу К. Аксакова «сила власти — царю, сила мнения — народу», можно сказать, что и второе, по Абалкину, следует отдать в полное распоряжение правительства. Это и есть в чистом виде диктатура.

Абалкин, как и наши дискутанты, ничего не говорит, или говорит очень глухо, в чем по существу состоит эта «сила общественного мнения». Психологическая основа ее во всяком случае — доперестроечная, «социалистическая». Трудящиеся по-прежнему предпочитают сытой неопределенности рыночного капитализма полуголодную определенность командного социализма.

По природе своей массы, разумеется, способны к трансформации. И восприятию различных экономических форм, прежде всего самой органичной из них — рыночной. Прав польский публицист Э. Скальский\* утверждавший, что предоставленный сам себе, без полицейской экономики в полицейском государстве, народ будет вести себя так, как заложено в его (потребительской) психологии, — по основному рыночному закону «дешевле покупай, дороже продавай; а то, чем располагаешь, рассматривай как капитал».

К сожалению, в высшей степени вероятный для Восточной Европы (и уже осуществляющийся) прогноз Скальского

\* Парижский журнал «Культура» № 10, 1989 год.

вряд ли пригоден в нынешней ситуации в СССР. Ибо СССР — это не его недавние восточно-европейские сателлиты, в частности Польша, где народ оказался способен выдвинуть таких поистине общенациональных лидеров-реформаторов, как Лех Валенса и иже с ним. И создать такую мощную всенародную демократическую организацию, как «Солидарность».

В советских условиях массы вообще не выдвинули никаких значимых лидеров экономических и политических реформ, если не считать весьма слабые пока и дезориентированные шахтерские стачечные комитеты (о лидерах национальных движений, мы здесь не говорим, это другое дело). Так что толковать о возможности автоматического перерождения подсоветских трудящихся в рыночное общество явно преждевременно. Здесь нужно попробовать какой-то иной подход, вот вроде выдвинутых И. Клямкиным и А. Миграняном типа «путь к демократии — через диктатуру», «демократия нужна лишь для усиления власти лидера» и т. п. Конечно, логика этих лозунгов, как видно даже и невооруженным глазом, далеко уступает естественной логике в прогнозах Скальского. Но за неимением лучшей, приходится иметь дело и с такой. Попытаемся проследить, куда приведет нас эта логика.

Начать лучше всего, как говорится, с конца. Представим себе, что советскому правительству каким-то образом — демократическим или аппаратным — удалось получить чрезвычайные полномочия для проведения коренных экономических реформ. Сможет ли оно действительно провести подобные реформы, даже при условии полной искренности этого правительства? Другими словами, возможно ли в современном Советском Союзе не просто возрождение рынка из его осколков, как это было при нэпе, но воссоздание его буквально из ничего? Ведь за славные годы «построения социализма» рынок в СССР, действительно, уцелел

лишь в его извращенном, подпольном варианте. Из него выхолощена душа, вместо свободного взаимовыгодного обмена господствуют мафиозные законы подкупа, блата и угроз. Узаконить такой «черный» рынок — да еще в условиях его тесной сращенности с бюрократическим аппаратом — значит распространить нелегальщину на все сферы экономической и общественной жизни. Эта тенденция, и без того сейчас стремительно набирающая силу, вызывает большую тревогу.

Так на каком все же материале предлагается конструировать в Советском Союзе рынок?

Из дискуссии создается впечатление, что исключительно на материале исторических аналогий. Так, А. Мигранян правильно замечает (используя, по-видимому, схему Мильтона и Роз Фридманов\*), что модернизация «традиционных» дотоварных режимов, подобных советскому, всегда совершалась асинхронно, шла от модернизации духовной сферы через модернизацию экономики к политической эмансипации. И приводит пример из русской истории, — реформу Александра II-го Освободителя. Но затем как бы сбивается с серьезного анализа на решение пресловутой «задачи о курице и яйце». Что первично, а что вторично? Половинчатость реформы привела к убийству царя-реформатора и к трем русским революциям, или наоборот, несчастное это убийство повлекло за собой реакционную половинчатость реформы, а за этим и остальное?

А. Миграняна занимают лишь результаты, но ни в коем случае не условия, сделавшие возможными пусть даже половинчатые прорыночные реформы. А ведь условия эти ясны, как божий день. Они прежде всего в длительном существовании частной собственности и, следовательно,

по крайней мере, относительной рыночной свободы в дореформенной России. Той самой свободы, которой в современном СССР и в помине нет. Александру II-му оставалось лишь устранить несколько препятствий — и главное среди них, крепостное право, — чтобы раскрепостить уже существовавший рыночный потенциал. Остальное рынок должен был доделать сам. Что и произошло фактически к 1914 году, когда он стал господствующей формой экономической организации в России.

Так что не таким уж «традиционным» и дотоварным было русское общество в эпоху «великих реформ», выбранную для аналогии. Соответственно, и три русские революции, добивавшиеся политических свобод, никак нельзя выводить ни из убийства Александра II-го, ни из половинчатости его реформ. Выводить их надо не из какого-то частного, а из того универсального и подтвержденного историей факта, что свободный рынок является, конечно, необходимым условием политической свободы, но отнюдь не гарантирующим ее. Вот почему многие страны с вполне развитой рыночной системой, — в современном третьем мире, а ранее фашистские Испания и Италия, нацистская Германия, да и та же Россия перед Первой мировой войной, — все они были далеки от политической демократии. И обратно, эти же примеры свидетельствуют об относительной самодостаточности рынка, способного существовать и в отсутствии политических свобод. Вот почему рынок так легко «воскрес» в России во времена нэпа, после разрушительной войны и ленинского военного коммунизма. Восстал даже под железной пятой диктатуры пролетариата, как только получил относительную волю.

Похоже, И. Клямкин и А. Мигранян сейчас рассчитывают опять на ту же диктатуру, только с обратным как бы знаком. Но, спрашивается, из чего? Затушевывается здесь каким-то образом простая вроде бы истина, известная еще главному русскому «бесу» Ставрогину: «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца». И чтобы как-то прикрыть эту зи-

\* «United States in the 1990.» Hoover Institution, 1988.

яющую пустоту на месте «зайца», то бишь рынка в Советском Союзе, прибегают диспутанты к другим историческим аналогиям. Уже не столько из русской, сколько из европейской истории.

Так, основываясь на аналогиях из XVII и XX вв., И. Клямкин утверждает, что переход от дотоварной экономики к рынку никогда и нигде не сопровождался политической либерализацией; предшествовавший этой либерализации авторитарный режим создавал национальный рынок. Это правда, так действительно часто было, но отнюдь не всегда и не везде. Приведем опровергающие примеры.

Первый из них — из прошлого. Имеется в виду Англия начала XIX в., Иеремия Бентам и другие политические радикалы того времени. Все они рассматривали отнюдь не диктатуру и автократию, а именно демократию как условие рыночной свободы. По их мнению, достаточно предоставить массам прямое и равное избирательное право, и большинство населения, повинясь инстинкту самосохранения и здравому смыслу, проголосует за свободный рынок. Но для этого, конечно, нужно, чтобы рынок в качестве примера, пусть и в подавленной авторитарным государством форме, но уже существовал, что и имело место в тогдашней Англии. «Задним числом нельзя сказать, что они были неправы, — констатирует М. Фридман в своей книге «Капитализм и свобода». — Осуществились немалые политические реформы, а за ними последовали реформы экономические, направленные в сторону большей свободы конкуренции. Результатом таких изменений в экономическом устройстве общества явилось громадное повышение благосостояния масс».

Второй пример — из современности: выходящая из социализма Польша. Сошлемся опять на Скальского, объясняющего нам, что существо нынешних польских перемен состоит, не в диктаторском введении рынка. Напротив, выход из социализма (как и ранее из феодализма) предполагает ликвидацию политического порабощения, дающую людям возможность свободной хозяйственной и общественной дея-

тельности. С этой точки зрения не годятся аналогии типа тех, к которым прибегают И. Клямкин и А. Мигранян, — существование в разное время в таких странах, как Чили, Испания, Греция, Южная Корея, — частнособственнической рыночной экономики и политической диктатуры. По той же причине не годятся, о которой мы уже говорили: эти страны не прошли через полную экспроприацию рыночного хозяйства, как это случилось в СССР. Кроме того, как правильно замечает Скальский, соединение рынка и политической диктатуры всегда временно. Рынок требует для себя политической свободы, хотя может в принципе, до поры до времени, существовать и без нее. Именно названные страны об этом и свидетельствуют.

В Польше же, продолжает Скальский, коммунистическая диктатура вынуждена была поделиться властью и законодательно провозгласить основные экономические свободы. Но сразу же выяснилось, что самим существованием диктатура эта связывает экономические и общественные свободы. Следовательно, нужно что-то делать со всей системой, с самой диктатурой. В СССР, где «экспроприация экспроприаторов» рыночного хозяйства зашла дальше, чем где бы то ни было, целостная ликвидация всей политической и экономической системы социализма — еще более насущный и острый вопрос.

В связи с этим возникает еще одна и, пожалуй, самая важная для современной ситуации в СССР проблема. Для подхода к ней возьмем сначала один из центральных экономических аспектов — финансовую самокупаемость советских предприятий, так называемый хозрасчет. Ведь и при перестройке он остался фикцией. Дезорганизация продолжает идти сверху, от государства, поскольку государство остается монопольным собственником средств производства, прежде всего земли. И поэтому, ослабляя контроль над двумя из трех основных факторов производства — капиталом и трудом, — оно по-прежнему остается единственным, внеконкурентным распорядителем и получателем третьего фактора — прибыли.

Ее реальная и экономически оправданная величина, при отсутствии конкуренции частных собственников, устанавливается государством сугубо эгоистически, вне рациональной экономической калькуляции, традиционно «от фонаря». Соответственно произвольной является и стоимость двух других факторов производства. В результате народное хозяйство остается разбалансированным. Хозрасчет в масштабе народного хозяйства превращается в «потемкинскую деревню». Основанная на нем экономика остается затратной и неэффективной.

Выход из этого экономического «Зазеркалья» — в переходе от государственной («общенародной») к частной собственности, где не частная собственность является исключением из государственной, а скорее наоборот. Тогда появится конкуренция частных собственников, выявится истинная стоимость средств производства и в целом товаров. Хозяйство наладится, вернется в реальность. Иного пути просто нет.

Но сможет ли советское правительство, даже в случае своей психологической готовности, отказаться от монопольной прибыли и неразрывно связанного с ней централизованного планирования, контроля цен, командных позиций в экономике и т. д.? Будет ли оно способно к новой для себя роли одного из многих частных собственников на средства производства, участвующих в рыночной конкуренции наравне с другими? И это несмотря даже на сохранение пусть уже не тоталитарной, но все еще достаточно сильной авторитарной власти, да еще с наделением, согласно предложению наших диссидентов, чрезвычайными полномочиями?

Непреодолимых экономических препятствий здесь как будто не видно. Социалистическая развращенность подсоветских масс, как показывает польский опыт, — вещь в общем-то преодолимая. Хотя и в длительной перспективе. Преодолимая, исходя из естественных интересов и здравого смысла самих же масс. Но существует, как показывает

тот же опыт, серьезнейшее политическое препятствие. Оно в сращенности любого советского правительства с монопольной властью КПСС. В советских условиях эта верховная власть закреплена, как известно, в пресловутой ст. 6 Конституции СССР. Эту статью КПСС ни при каких условиях не хочет, а Верховный Совет никак пока не может отменить.

И пока любое советское правительство — самое демократическое или самое деспотическое — остается подконтрольным КПСС, ничего из экономических реформ не получится. Ибо как, спрашивается, может даже законное правительство проводить любые законодательные акты, включая экономические, если оно полностью подконтрольно стоящей над ней «незаконной» организации? Это очевидный абсурд. А то, что КПСС — организация тотально незаконная, — доказывать вроде бы не приходится. Более того, по природе и происхождению своему эта организация, осуществляющая бесконтрольную государственную власть, является и насильственной (В. И. Ленин: «Мы Россию завоевали...»). И поэтому не может КПСС, не отказываясь от самой себя, обратиться искренне, без имитации и манипуляций, к законному демократическому принципу. Не может стать, вопреки иллюзорным ожиданиям наших диссидентов, не то что демократией, но хотя, бы «демократической диктатурой».

А не имея законности в самой себе, она вынуждена искать ее вовне, в идеологических символах. Централизованное планирование как раз и играет для КПСС эту двоякую роль — не только инструмента для господства экономического, но и символа власти политической.

Становится понятней, почему так отчаянно сопротивляется КПСС любому самому невинному предложению о раскрепощении частной собственности. Партийных «кормчих» перестройки вполне можно понять. Ведь именно частная собственность моментально смела бы политическую роль централизованного планирования, а с нею и претензии КПСС на неограниченную власть.

Послушаем в этой связи самого М. С. Горбачева: «Вопрос о частной собственности не должен стать «гвоздем» намечаемой программы экономических реформ и тем более не должен повлечь за собой формирование организационного движения в ее защиту. Я не думаю, что рабочий класс выскажется в поддержку людей, призывающих к реставрации капитализма. Я сам из рабочего класса, и ничего не могу с собой поделаться. Что бы вы со мной ни сделали, я от своих взглядов не откажусь».

В этом крике души советского руководителя «ничего не могу с собой поделаться», «я от своих взглядов не откажусь»... — ключ к разгадке проблемы. И отходная предложению И. Клямкина и А. Миграняна о введении «демократической диктатуры» во имя экономических свобод. Ибо свидетельствует это заявление советского лидера о решающей, первостепенной важности для КПСС централизованного планирования с его политической символикой — даже перед лицом экономической разрухи, военного ослабления и многих других угроз. Либо власть, либо рынок — такая жестокая альтернатива встает сейчас перед КПСС.

\* \* \*

Процитируем еще раз Горбачева: «Я знаю только одно. Через две недели после введения (свободного) рынка взбунтуется весь народ, выйдет на улицы, чтобы смести любое правительство, даже преданное народным интересам».

Здесь весь смысл в последних словах. Горбачев прав. «Преданное народным интересам» правительство (демократическая диктатура на языке наших дискутантов) действительно рано или поздно будет сметено. Не потому, что «предано народу», а потому что предает рынок, ставит интересы своей монополевой власти выше долгосрочных народных интересов.



Семен РЕЗНИК

## ЛЕВЫЙ МАРШ КРАЙНЕ ПРАВЫХ

**О ПОЛЬЗЕ ПРЕДИСЛОВИЙ** *О тех, кто принял муки на кресте, эпоха мемуарами богата, и книга о любом таком Христе имеет предисловие Пилата.*

*И. Губерман.*

Много лет назад мне как студенту технического вуза пришлось проштудировать множество стандартных учебников, утвержденных Министерством высшего образования. Каждый из них открывался предисловием, из которого следовало, что данную дисциплину основал Михайло Ломоносов. И хотя уже наступила хрущевская оттепель, но учебники были все еще скроены по рецептам сталинской педагогики, прививая нам «национальную гордость великороссов». Результат прививки, естественно, был обратным: национальная гордость обернулась анекдотами о России — родине слонов. А заодно у целого поколения выработалось отвращение к предисловиям.

Те, кто в СССР рвет на части шестой номер журнала «Октябрь» за 1989 год или втридорога перекупает его у книжных жучков, делают это ради повести Василия Гроссмана «Все течет», а не предисловия к ней, которое занимает около тридцати журнальных страниц. Зачем же понадо-



бился этот комментарий? Сам автор, философ Г. Водолазов разъясняет:

**«Я, действительно приветствуя все основные художественные идеи повести В. Гроссмана, буду решительно возражать против понимания автором (и его героем) причин, корней, истоков сталинизма, против отождествления Ленина со Сталиным, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина».**

Защищая Ленина, Г. Водолазов обнаруживает большую эрудицию. Если в повести Ленин обрисован как человек нетерпимый, то в предисловии он образец терпимости. Если в повести он всегда уверен в своей правоте, то в предисловии смело признает свои ошибки. Получается, что хотя Сталин и продолжал дело Ленина, но продолжал «неправильно», завел страну не туда, Ленин к этому не причастен...

Однако Гроссман и не пытался изобразить Ленина каким-то чудовищем. Напротив! Он показывает его интеллигентность, нередко проявляемую деликатность, его неприхотливость, равнодушие к жизненным благам. Но он показывает также, что все эти человеческие качества — не главное в личности Ленина. Главное — это презрение к демократии, готовность добиваться своих целей любыми, в том числе, самыми кровавыми средствами.

По принципу авторитарности была построена им «партия нового типа», а затем и государственная система послереволюционной России. И в развернувшейся после его смерти внутрипартийной борьбе больше всего шансов взять верх было у того, кто наиболее последовательно воплощал те же принципы. То есть у Сталина.

Такова основная мысль повести Василия Гроссмана, и Водолазов ее вовсе не опроверг. Возможно, он к этому и не очень стремился: цель состояла в том, чтобы «отмежеваться» от крамолы, но протащить ее в печать. Однако философ прикрыл редакцию журнала вовсе не с той стороны, с какой следовало. Повесть задела другие, куда более чувствительные струны, и удар был нанесен во фланг, оказавшийся оголенным...

## ГЛАШАТАЙ БОЛЬШОГО НАРОДА

*Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти, и мы все еще народ Большой, и нас все еще мало убить, но надо и повалить...*

*Виктор Астафьев  
(Письмо Н. Я. Эйдельману)*

Игорь Шафаревич до недавнего времени в Советском Союзе был мало известен. Он крупный математик, член-корреспондент Академии наук СССР, член многих иностранных научных обществ, но что знает публика о математиках! Правда, Шафаревич еще и автор ряда социологических работ, но, в силу их явной неподцензурности, они в СССР не печатались и были известны лишь узкому кругу читателей сам- и тамиздата.

Лет восемь-десять назад Шафаревич написал «Русофобию», но предпочитал ее не публиковать даже на Западе. Лишь когда гласность почти свела на нет репрессии, особенно по отношению к людям известным, «Русофобия» увидела свет — сразу в нескольких зарубежных журналах. И не успели они выйти, как тот же труд появился в «Нашем современнике» (в шестом номере за 1989 год, то есть одновременно с повестью Гроссмана). Теперь его рвут на части, вероятно, с не меньшим азартом, чем шестой номер «Октября». Автор в одночасье приобрел широкую известность. Статьи Шафаревича стали появляться в самых разных изданиях, интервью с ним передавали по телевидению, другое интервью было опубликовано в журнале «Книжное обозрение», который считается одним из флагманов перестройки.

Комментарий И. Шафаревича к статье Г. Водолазова слишком обширен, чтобы приводить целиком, но вот его квинтэссенция. В повести Гроссмана, говорит Шафаревич, есть «два персонажа», о которых автор допускает «резко отрицательные высказывания»: это В.И. Ленин и Россия.

Предисловие Г. Водолазова написано для того, чтобы смягчить шок, который могут вызвать резко отрицательные суждения о Ленине. Что же касается «не менее резких высказываний о России», то «они воспринимаются как нечто естественное» и ни в каком смягчении не нуждаются. «Это сопоставление представляет интерес, потому что объективно характеризует определенные настроения, существующие в обществе».

Напомню, что речь идет о произведении писателя, который при жизни подвергался гонениям, а после смерти был вычеркнут из литературы: и вот недавний диссидент с математической точностью наносит удар ниже пояса, чтобы снова закопать Гроссмана — теперь уже не как антисоветчика и антиленинца, а как русофоба.

Да, герой повести Гроссмана говорит о русской душе как «тысячелетней рабе», о «холопском подчинении личности государю и государству». С такими взглядами можно спорить. Я, например, полагаю, что противостояние рабству — такая же константа русской истории, как и само рабство. Но где же у Гроссмана «фобия», (то есть «страх» и «ненависть»), как Шафаревич определяет это понятие? Неужто не видно, что рассуждения Гроссмана о русской несвободе, породившей Ленина и Сталина, пропитаны не страхом или ненавистью к России, а болью за нее.

Шафаревич пишет, что «ненависть к одной нации, скорее всего, связана с обостренным переживанием своей принадлежности к другой». В действительности как раз происходит обратное: тот, кто глубоко озабочен страданиями своего народа, как правило, способен сочувствовать и другим нациям. Тем более нельзя применить формулу Шафаревича к Василию Гроссману: еврей, ассимилированный в русской культуре, он не мог обостренно переживать свою принадлежность к «одной нации», так как фактически принадлежал к двум.

Однако, не неся в себе объективной истины, утверждение Шафаревича содержит истину субъективную. Это

лично для него чувство принадлежности к русско-му народу неотделимо от ненависти к евреям, как северный полюс магнита неотделим от южного.

**«Есть только одна нация, о заботах которой мы слышим чуть ли не ежедневно, — возмущается Шафаревич в «Русофобии». — Еврейские национальные эмоции лихорадят и нашу страну, и весь мир, влияют на переговоры о разоружении, торговые договоры и международные связи ученых, вызывают демонстрации и сидячие забастовки и всплывают чуть ли не в каждом разговоре. «Еврейский вопрос» приобрел непонятную власть над умами, заслонила проблемы украинцев, эстонцев, армян или крымских татар. А уж существование «русского вопроса», по-видимому, вообще не признается».**

Читать такое в 1989 году несколько странно, но ведь книга была написана тогда, когда евреи действительно громче других выражали недовольство своим положением. Сегодня почти во всех советских республиках — союзных и автономных — созданы национальные фронты, требующие свободы, демократии и национальных прав для своих народов. Кому же, как не автору процитированных строк, приветствовать эти движения! Но вот что говорит Шафаревич:

**«Большинство национальных течений объединяет одно — их резкость, агрессивность. Если взять высказывания каких-нибудь из прибалтийских организаций и, скажем, «Памяти» и заменить только название одной национальности на другую, то получится по сути одно и то же» («Книжное обозрение». № 34, 25 авг. 1989 г.).**

Так ли это? В эстонском журнале «Радуга» на русском языке регулярно печатаются письма, поступающие в редакцию со всех концов страны. Экономя место, я воздержусь от цитирования, скажу только, что русские читатели — рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, пенсионеры — с большой симпатией относятся к переменам в республике. Это и есть голос того «большого народа», чьим глашатаем объявляет себя Шафаревич.

А может быть, все как раз наоборот? Может быть, именно интеллигенты-западники (русские, евреи, эстонцы и т. д.) как раз и представляют подлинные интересы России, ибо зовут ее к демократии, подлинному национальному возрождению. А Шафаревич и его единомышленники как раз и

представляют «малый народ» озлобленных сектантов, которые, заражая Россию бациллами расовой ненависти, стремятся захватить над нею господство (пока, в основном, духовное). Они-то и есть русофобы. Не тот враг России, кто напоминает о ее рабстве в прошлом, а тот, кто сегодня, в столь ответственный период ее истории, готовит ей рабское будущее.

## ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ

*Сталин — это фанатичное ощущение Родины, это карающий меч!  
(Г. Турецкий, Ленинград. Из письма в редакцию «Советской Культуры»)*

Для России, как и для любой страны, возможен лишь один из двух типов общественного и государственного устройства: демократия или тоталитаризм.

Сторонников демократии Шафаревич и именует русофобами. Объявив им войну, он полон решимости «спасти Россию», правда, оговаривается, что он не против демократии, а лишь против демократии «западного образца». Но Ленин и Сталин тоже были не против демократии вообще, а против «буржуазной» западной демократии, обещая создать лучшую, свою, социалистическую. Во что это вылилось, слишком хорошо известно.

Западная демократия (утвердившаяся, между прочим, и на Дальнем Востоке) тем и привлекательна, что она не имеет единого для всех образца. В Великобритании и Швеции демократия превосходно уживается с монархией. ФРГ устроена по принципу федерации автономных земель, а Соединенные Штаты — федерации штатов. В каждой демократической стране можно найти массу особенностей, связанных со своеобразием ее исторического опыта. Общее между демократическими странами лишь то, что все граждане в них свободны и имеют возможность участвовать в решении местных и общегосударственных вопросов непосредственно или через своих избранных.

Почему такой путь не подходит для России, Шафаревич не объясняет, он упорно твердит свое:

**«Народ пойдет по пути, который он сам выработает и выберет (конечно, не при помощи тайного голосования, а через свой исторический опыт)».**

Замечание в скобках особенно примечательно, в нем-то и зарыта собака! Радетель «большого народа» не хочет дать этому народу право голосовать и тем самым выразить свою истинную волю. А вдруг большой народ проголосует за «малый», то есть именно за сторонников демократии, как это и произошло при выборах народных депутатов — в тех местах, где народ действительно имел возможность выбирать. Шафаревич и его сторонники сами желают определять, кто должен представлять большой народ, а кто — только «малый». В этом, очевидно, и состоит тот «третий путь», на который они толкают Россию.

Объявляя русофобией всякое упоминание о рабском прошлом России, радетели большого народа стремятся загнать его, а заодно, естественно, и украинцев, эстонцев, армян в новое рабство.

Посмотрим с этой точки зрения на труд Шафаревича. Он, например, опровергает домыслы «русофобов» о деспотическом характере режима Николая Первого: за тридцать лет его царствования было совершено всего пять казней (пять повешенных декабристов), тогда как в странах Запада таковых было во много раз больше. Ну, а крепостное право, позволявшее продавать людей, как борзых щенков? А 25-летняя солдатчина? А розги и шпицрутены, которыми забивали до смерти крестьян, солдат, детей? А цензура? Я уж не говорю о преследованиях инородцев, о гонениях на евреев, выразившихся, частности, в ряде средневековых процессов по обвинению их в ритуальном употреблении крови христианских младенцев, включая побившее рекорды Вележское дело. Если Шафаревичи смогут убедить большой народ, что ничего этого не было, то — будет!..

## ИУДЕЙСКИЕ ХАНЫ

*«Иудейские ханы  
не добрее монгольских».*

*Валентин Сорокин.  
(Стихотворение «Ягода»)*

25 августа 1989 года «Русская мысль» опубликовала информацию из Москвы, в которой перечислено полтора десятка организаций, именующих себя «Памятью». В сентябре была создана Ассоциация «патриотических» организаций под названием «Объединенный совет России». На Учредительном съезде собралось триста делегатов от множества разных обществ. Из опубликованных резолюций «Объединенного совета» видно, что он стоит на имперско-сталинистских позициях и требует погасить «волну русофобии», поднятую движениями, «фронтами», печатью, телевидением». То есть «патриоты» требуют на инакомыслие снова надеть намордник.

При этом демократия, с которой они воюют, у них выступает под псевдонимом сионизма и масонства. Мишенями для нападок выбирают отдельные исторические фигуры с еврейскими фамилиями, которые сами были врагами демократии. Так что с «малым народом» они были родственны не духом, а кровью. Вот характерная иллюстрация.

В интервью «Правде» Василий Белов заявил, что «Троцкий и его компания выдвинули идею рассказывания крестьян на Дону» («Правда», 15 апреля 1988 г.). Журнал «Москва» (1989, № 2) опубликовал очерк некоего Евгения Лосева, в котором приведена секретная директива 1919 года о поголовном уничтожении «богатых казаков» и «всех казаков», принимавших прямое или косвенное участие в борьбе против большевиков. По словам Лосева, директива исходила от Якова Свердлова и была отменена сразу же после его смерти. Вадим Кожин привел «еще более страшную директиву Якира: расстрел на месте всех имеющих оружие и даже процентное уничтожение мужского населения».

Кто же из трех «иудейских ханов» учинил расправу над казаками? Казалось бы, наличие трех разных версий должно было вызвать полемику между авторами. Но нет, полемика возникла между В. Кожинным и Бенедиктом Сарновым, который показал, что директива о рассказывании исходила от Оргбюро ЦК партии, причем Оргбюро выполняло решение самого ЦК. Итог дискуссии подвел Станислав Куняев («Наш современник», 1989, №6) заявивший, что В. Кожин убедительно писал, что «менее всего русские создали «авторитарный режим» эпохи».

Вся эта литература не может не оказывать воздействия на жизнь. Так, 18 июля 1989 года у памятника Свердлову в Москве состоялся митинг общества «Память», приуроченный ко дню убийства Николая Второго.

**«О расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге семье последнего русского императора почти никто и не вспомнил, — свидетельствует очевидец. — Около полутысячи собравшихся молодчиков выкрикивали печально известные лозунги: «Долой еврейский фашизм в СССР», «Евреи, убирайтесь в Израиль», «Долой русофобов», «Даешь десионизацию России». Чуть позже минут десять кряду скандировали: «Долой памятник Свердлову» («Вестник еврейской советской культуры», № 8, 2 августа 1989).**

Действо закончилось возложением к памятнику венка из колючей проволоки с надписью: «Организатору массового террора». После этого:

**«Бородатые люди еще часа два беседовали у памятника на темы: какова истинная фамилия Виталия Коротича — Керзман или Керзмин. и о том, что Ветхий Завет — это программа действий по уничтожению россиян».**

Вариацию последней темы можно найти и на страницах «патриотических» журналов:

**И жила под его казуистикой алой,  
под покровом «марксистского» блуда,  
словно жгучий огонь под пристылой золой,  
несмиримая ярость талмуда, —**

пишет Виктор Кочетков в стихотворении, посвященном другому «иудейскому хану» — Троцкому («Наш современник», 1989, № 7).

Стихи о Троцком появились примерно в те же дни, когда происходил митинг у памятника Свердлову.

По уверению автора, Троцкий в России «ни с одною былинкой ... не был в родстве, ни с одною березкою в дружбе», зато, покидая ее, он увозил «китайский фарфор из коллекций великого князя».

Как нетрудно догадаться, основная черта Троцкого — лютая ненависть к русскому народу:

**Что ему разоренье, и голод, и мор.  
Он по этой стране окаянной  
ездил в царском вагоне — наркомвоенмор —  
под надежной латышской охраной.**

**...он ставил их к стенке — донцов, волгарей, —  
на «виновных» пронзительно глядя —  
за одно неудобное слово «еврей»,  
оброненное ими в досаде.**

Конечно, Троцкий натворил в России много зла. Он несет немалую ответственность за ужасы военного коммунизма и за многие другие преступления. Однако к 1929 году он не только не имел власти творить какое-либо зло, но пытался ему противостоять. Он не смирился с усилением власти Сталина, не каялся, как многие из тогдашней оппозиции. Из алма-атинской ссылки он слал Сталину телеграммы, протестуя против насильственной коллективизации. (Хотя руководствовался, по-видимому не гуманными, а скорее политическими соображениями, считая, что тотальная война против народа погубит режим). Именно эти протесты переполнили чашу терпения Сталина, добившегося изгнания Троцкого за границу.

Зная, конечно, эти факты, В. Кочетков, тем не менее, утверждает, что не Сталин, а

**эти степи сказали ему «Уходи!»,  
эти дали его отторгали.  
Пусть столица от распрей партийных гудит.  
Не всколышутся эти глубины.  
Не грузин победит, не ЦК победит,  
а вот этот мужик на драбыне.**

За «Нашим современником» поспешает «Молодая гвардия». За подписью Сергея Наумова из Магадана в ней, например, помещена статья под выразительным названием «Палачи: Каганович, Мехлис и другие» (1989, № 8). «Другие» перечисляются в статье списком, который открывается именами наркома внутренних дел Ягоды (Иегуды) Генриха Гиршевича и его первого заместителя Агранова Якова Сауловича. Далее следует сорок фамилий, из которых более 30 еврейских, три русских, одна грузинская, одна, по-видимому, латышская, остальные неопределенные, так что желающие их тоже могут считать еврейскими. Имена Ежова, Крыленко, Вышинского, Шкирятова, Берия, Маленкова и им подобных в перечне, конечно, отсутствуют.

А каковы взгляды наших «патриотов» на Сталина?

Валерий Хатюшин в статье «Не покаяние, но искупление», опубликованной в журнале «Москва» (№ 4) пишет следующее:

**«Как видим, репрессивная машина была запущена сразу же после революции. Сталин же увеличил мощь, ускорил обороты этой человеческой мясорубки. Хотя от его личной воли здесь уже далеко не все зависело. Органы ЧК, ГПУ, НКВД, разросшиеся как на дрожжах, опугали своими агентами всю страну, имея полную свободу действий.»**

Не имея возможности прямо защищать Сталина, «патриоты» защищают его косвенно — переключив большую часть его преступлений на «иудейских ханов», творивших зло вместе с ним и прежде него. Когда и этого оказывается мало, они не щадят и самого Ленина, оказываясь «левее» самых непримиримых антисталинистов. Левый марш крайне правых — это одно из знаменательных явлений в современной литературной борьбе.

Когда Кожин, или Хатюшин, или Владимир Солоухин указывают на то, что сталинский режим был не причиной, а следствием репрессивного характера власти, то они правы. Когда они указывают на то, что ужасам 37-го года предшествовали ужасы коллективизации, а еще до нее — ужасы военного коммунизма, то они правы вдвойне.

Но ведь за десятки лет до Кожина или Солоухина об

истоках народной трагедии с большой силой и болью написал Василий Гроссман. К тому же он осмелился заглянуть вглубь, перешагнуть рубеж 1917 года. Трагедию революции и сталинизма он пытался осмыслить в перспективе всей тысячелетней российской истории. Этого и не могут допустить правые, остающиеся таковыми несмотря на их левый марш.

**«В конце концов, если бы не Сталин, — философствует В. Хатюшин, — то к власти в 1924 году пришел бы Троцкий... Троцкий мечтал превратить страну в военно-феодальное государство, чтобы с его помощью осуществить мировую революцию, встав во главе этой революции и тем самым — во главе мирового правительства. То есть он на практике мечтал легализовать масонскую идею — власть над всем миром. Главным препятствием на пути Троцкого был Сталин, который, по всей вероятности, видел и понимал авантюренность этого масонско-сионистского заговора против человечества».**

Итак, зло обозначено точно. Оно даже не в личности Троцкого или Свердлова, а в стремлении евреев к мировому господству. Эти откровения полезно сравнить, например, с высказываниями Ф. И. Родичева, одного из лидеров кадетской партии, который писал в начале двадцатых годов, когда Троцкий, Зиновьев и некоторые другие евреи еще входили в состав высшего большевистского руководства:

**«Еврей — собственник по преимуществу. Большевики уничтожают собственность. Как же может еврейство стать на сторону большевизма? Для антисемита нет затруднений, ибо ему открыто тайное. Он знает, что «большевизм — это этап, который евреи должны пройти». Они сперва разрушат всякую собственность, а потом овладеют всем. Сперва доведут народы до нищеты и отчаяния (сами при этом поплутаются), а потом подчинят их своему господству. Совершаются неотвратимые судьбы мира сего. Война и ее ужасы, революция, большевики со всеми несчастьями — все дело рук еврейско-масонского заговора».** \*

\* Ф.И. Родичев. Большевики и евреи, Общество имени А. Герцена, Лозанна, без даты.

Веру в иудо-масонский заговор Ф. Родичев сравнивал со средневековой верой в колдунов, домовых и прочими предрассудками, бытующими в сознании толпы.

За семь десятилетий произошел значительный прогресс: теперь эти предрассудки разделяют те, кто претендует на роль лидеров духовного возрождения России. Между ними идет своеобразное соревнование: кто покрепче и позабористее опишет этот самый заговор.

**«Это — книга железных инструкций и рекомендаций о создании механизмов власти над народом, — сообщает Станислав Куняев о «Протоколах сионских мудрецов», — книга о том, как править народом или народами, как «разделять и властвовать» в условиях нового времени. Как совершать государственные перевороты и пользоваться революционными движениями масс в кастовых целях, как действовать то кнутом, то пряником в меняющихся исторических условиях двадцатого века. Эта книга — плод тщательного анализа всей политической истории человечества. Кто бы ее ни создал — она создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли своего времени... Читая «Протоколы», порой содрогаясь от ужаса, что многое из предсказанного в них уже осуществилось в истории XX века. «Протоколы...» — книга политического и нравственного Апокалипсиса нашего столетия».** («Наш современник», 1989, № 6).

Так характеризуется фальшивка, небрежно списанная с французского памфлета, высмеивающего режим Наполеона III. Что же восхищает Куняева в этом «Апокалипсисе»? Понять не трудно: «Протоколы» были сострепаны для того, чтобы доказать, что иудо-масонский заговор действительно существует. По мнению Куняева, идеи протоколов осуществились, то есть заговор действительно имел место.

Воспевание «Протоколов...» оценено по достоинству. Станислав Куняев сменил на посту главного редактора «Нашего современника» Сергея Викулова, который два десятка лет вел свою команду на штурм «жидо-масонских крепостей». Сколько я ни напрягал память, а так и не мог вспомнить ни одного талантливого поэта или прозаика, которого ввел бы в литературу «Наш современник». Зато именно на его страницах неизменно находили приют просталинские антисемитские сочинения Валентина Пикуля, Станислава Куняева, Вадима Кожинова, Анатолия Ланщикова, даже Вале-

рия Емельянова, который так рьяно разоблачал сионистко-масонский заговор, что в конце концов убил собственную жену и как невменяемый был направлен судом на принудительное лечение от шизофрении. (Сейчас Емельянов возглавляет самое оголтелое крыло «Памяти»). Пробивая скандальные сочинения в печать, Викулов проявил немалое старание. Теперь он притомился и ушел на покой. Но знамя перестало в надежные руки.

## НАУКА НЕНАВИСТИ

*«Нашей целью является духовное возрождение и объединение Народа нашего Отечества, измученного и ограбленного агрессивным сионизмом, талмудическим атеизмом и космополитическим ростовщичеством».*

*Из воззвания общества «Память».*

Игорь Шафаревич утверждает, что Россия с ее тысячелетней историей — это живой, развивающийся организм, а не механизм. Ее будущее вырастает из прошлого, а потому попытки какого-либо механика что-то исправить или, наоборот, сломать обречены на провал. Но ведь эту же мысль развивает «русофоб» Василий Гроссман: герой его повести считает, что ужасы ленинизма и сталинизма органично взошли на дрожжах тысячелетнего российского рабства.

С Гроссманом можно не соглашаться, но герой его повести, по крайней мере, последователен. Тогда как Шафаревич, противореча себе, убеждает читателей, что тоталитарный строй был навязан России извне «малым народом», который теперь снова хочет навязать ей нечто для нее чуждое.

Так что же все-таки представляет собой Россия — организм или механизм? Можно ей что-либо навязать или нельзя? Если нельзя, то о чем беспокоиться? А если можно, если марксистско-ленинский тоталитаризм был привнесен в Рос-

сию с Запада, где он на практике не осуществился, то почему же не использовать позитивный, во множестве вариантов проверенный (и выдержавший проверку на практике!) опыт Запада для создания свободного, гуманистического и экономически эффективного общества?

Шафаревич рисует жуткую картину вселенского зла, которое якобы всегда исходило и исходит от заграницы, и особенно, от эмиграции. Не брежневский режим, не ввод танков в Чехословакию, не репрессии против инакомыслящих, не подавление движения за эмиграцию отсрочили перестройку на 20 лет — в этом повинна именно эмиграция, потому что «ее путь избирают как раз люди, менее укорененные в жизни».\* И ныне основную угрозу реформам представляют не сопротивляющийся им аппарат, не коррумпированная номенклатура, не поднявшая голову черная сотня, а — эмигранты. При этом понятие «эмигрант» Шафаревич толкует весьма широко: «Существует «эмигрантское отношение к жизни», которое может окончиться, а может и не окончиться отъездом». Соответственно и отъехавшие, по Шафаревичу, не обязательно эмигранты. Иначе говоря, эмигранты — это те, кого Шафаревич пожелает таковыми назначить. Какая же от них исходит угроза?

**«Существует распространенный прием, — разъясняет автор статьи, — который, вероятно, многие могли наблюдать, когда сплоченная группа, «мафия», захватывает руководство в какой-то сфере жизни. Интересного для них человека они «проверяют», «прощупывают», заставляя сделать нечто для него неприятное. Если он покорится, значит, его можно сгибать дальше, можно и совсем подчинить, в противном случае — надо повременить: он еще не созрел. Таким проверкам подвергаются, в событиях большого масштаба, целые социальные слои и народы».**

Руку эмигрантской «мафии» Шафаревич увидел в публикации журналом «Октябрь» отрывка из книги Андрея Сивянского «Прогулки с Пушкиным».

\* И. Шафаревич, «Феномен эмиграции», «Литературная Россия». 1989. № 36, 4 сентября.

«Как надо было бы наиболее эффективно «проверить» русских? Кошунство, оскорбление православия? — но теперь это было бы болезненно лишь для меньшинства. Еще раз испачкать грязью русскую историю? — но это мы уже переносим спокойно. А вот, пожалуй, Пушкин — это то, что ближе большинству русских, укол в это место почувствуют большинство их... Вот одной из проверок жизненности нашего народа, его способности дать отпор и является эта публикация».

Какой же «отпор» надо дать диверсантам? Ответ у Шафаревича наготове:

«Недавно аналогичная ситуация прогремела по всему свету. Знаменитые «Сатанинские стихи» Сальмана Рушди — это, по-видимому, нечто вроде исламского варианта «Прогулок с Пушкиным». И надо сказать, что исламский мир своей реакцией на это прощупывание еще раз доказал свою большую жизненную силу... Реальным ответом были грандиозные демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни, и в результате удалось добиться запрета книги во многих странах».

Без границы, как видим, не обходятся и самые громокипящие патриоты, вопрос только в том, кому что ближе в зарубежном опыте. Итак, недавний диссидент жаждет з а п р е т а. Ради него он готов пожертвовать сотнями жизней русских людей. Они должны погибнуть, даже не зная, что именно требуют запретить: ведь толпы мусульманских фанатиков, протестовавших против «кошунственных» стихов Рушди, книгу его не читали, как не читал ее и сам Шафаревич. Что ж, теперь понятно, какого рода режим он считает более органичным для России, чем демократия!

## В ЧУЖУЮ ГРУДЬ

*Не все мы трепались языками,  
осмысливая пагубный свой путь —  
мы каялись! И били кулаками  
в чужую грудь.*

*И. Губерман.*

А как радетели «большого народа» относятся к «Памяти»? Мы уже приводили замечание Игоря Шафаревича о том,

что лозунги «Памяти» по своей агрессивности неотличимы от высказываний любой (!) прибалтийской организации. Казалось бы, и отношение автора к «Памяти» должно быть столь же негативным. Однако — нет!:

«Я совершенно не представляю себе и не знаю, может ли кто-нибудь иметь реальную картину масштаба движения «Память»? По всем рассказам ясно, что оно очень невелико, митинги немногочисленны, прессы нет у нее никакой. Движение не поддерживает ни одна газета — и одновременно ему придается искусственно такая большая роль! Мое объяснение этого феномена таково: мы имеем дело со стремлением искусственно создать своего рода «образ врага», разбудить страх по отношению к пробуждающимся русским национальным тенденциям. желание создать образ какого-то колоссального чудовища, которого должны бояться все».

Так снова все ставится с ног на голову. Оказывается, это не «Память» искусственно создает образ врага, а те, кто против «Памяти». Не «Память» старается разбудить страх и ненависть перед мифическим еврейским заговором против России, а кто-то другой искусственно пробуждает страх перед «русскими национальными тенденциями», которые, в понимании Шафаревича, неотличимы от тенденций «Памяти». Не идеология «Памяти» нашла отражение в девяти миллионах экземплярах книг по «разоблачению» сионистско-масонского заговора, изданных за последние 20 лет. Не ее идеология легла в основу 48 антисемитских публикаций, насчитанных специалистами-этнографами в советской печати только за пятилетие 1981-1986 годов. Не ту же идеологию постоянно и настойчиво пропагандируют сегодня десятки газет и журналов — от «Советской России» до «Литературной России» и «Московского литератора», от минского журнала «Политический собеседник», до иркутской «Сибиряки», а в первую голову — «Наш современник», который открыл советским читателям Шафаревича.

«Даже европейский парламент принял призыв распустить «Память»!», — возмущается Шафаревич. И чтобы окончательно убедить читателей, что «Память» выдумана «малым народом», он призывает на помощь приехавшего в Москву безымянного советолога, который якобы ему ска-



зал: «есть такая шутка: в Америке наиболее известны четыре русских слова: спутник, перестройка, гласность и «Память».

Недурная шутка. Но она была бы еще веселее, если бы «советолог» вспомнил пятое русское слово, столь широко известное в Америке, что давно и прочно вошло во все словари английского языка.

Это слово — погром.

\* \* \*

Эти заметки уже были написаны, когда из Москвы пришло известие о IV Пленуме Правления Союза писателей РСФСР, превратившемся в подобие митинга «Памяти». Пленум постановил снять Анатолия Ананьева с поста главного редактора журнала «Октябрь» за публикацию «кощунственных» произведений Василия Гроссмана и Андрея Синявского. Опубликованные в «Огоньке» и «Неделе» материалы пленума показывают, как работает мафия, столь ярко описанная И. Шафаревичем в его недавней статье. Я-то полагал, что это была поэтическая вольность, полет воображения. Теперь ясно, что И. Шафаревич рассуждал о мафии, прощупывающей, можно ли «сгибать дальше», не как поэт и даже не как публицист, а как строгий в своих выкладках математик.

Литература в СССР всегда была разделена на два лагеря. Один лагерь представлял собой культуру, другой — антикультуру. В одном лагере ценили талант, самобытность, порядочность, в другом — умение ходить строем и разоблачать. В одном пытались служить истине, добру, красоте, в другом отрабатывали ружейные приемы. То *пролетарские писатели* шли в штыковую атаку на *непролетарских*, то *интернационалисты* снимали скальп у *буржуазных националистов*, то *советские патриоты* крушили *безродных космополитов*, то «*октябристы*» шли в последний и решительный бой против «*новомировцев*»...

В конце 60-х советские патриоты и интернационалисты, *почувствовав гнилой запашок*, которым стала отдавать официальная идеология, перекрасились в *патриотов России* и пошли сомкнутым строем на «*масонов и сионистов*». Этот крестовый поход, вытеснивший в эмиграцию добрую половину лучших писателей, продолжается.

---

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ

## «НАПЕВЫ»

Еврейские мотивы переплетаются с общечеловеческими, преломляясь сквозь призму личных переживаний автора. Драматические искания ускользающей правды. Уроки истории, оставляющие *душевные* травмы, *отзвуки* которых слышны в стихах.

Осенние краски на палитре автора-окрашивают фон стихов. Лирический круг переживаний, отражающийся в образах: «Ночной фонарь метался, / как больной в бреду, / и желтый круг дрожал, / на каменном плацу».

Сознание греховности бытия, но и торжественная нота утверждения жизни — в этом основной диссонанс, и в то же время, гармония духа.

Томление души по неведомому краю, по уходящему дню, по угасающему закату. «Как скиталец духа ухожу я в страх и в смятенье чувств.»

---



Елена ГЕССЕН

## КТО МЫ И ОТКУДА?...

Не знаю, кто выдумал деление эмиграции на разные волны, но, кажется, то, что именовалось третьей волной, сходит на нет. Новые эмигранты, прибывающие после битв у американского посольства в Москве, уже именуется четвертой волной. Так что, вероятно, завершён некий этап, и настало время подводить какие-то хотя бы предварительные итоги. Оглянувшись окрест, обнаруживаешь, однако, что ни социологических исследований, ни сколько-нибудь серьёзных публицистических работ про нас — и нами же! — не написано. И тогда в поисках ответа на вопрос «кто мы и откуда» мы обращаем свои взоры к литературе. Но и тут нас ждут скорее разочарования. Эмигрантские писатели склонны описывать дела былых дней и оставленную родину, черпая темы и вдохновение в своем прошлом и оставляя настоящему месту публицистического дописка. Больше разработаны темы отъезда, момента перелома, когда человек принимает решение и оказывается меж двух миров:

очевидно, авторов привлекает внутренний драматизм и напряженность ситуации (назову талантливые сборники рассказов Марка Зайчика «Феномен» и Юлии Шмуклер «Уходим из России»). Тем поучительнее, пожалуй, взглянуть на не-многие книги, посвященные эмиграции.

Когда стало известно, что Василий Аксенов вот-вот издаст роман о своей жизни в Америке, это обрадовало многих его читателей. Аксенов был писателем нашего поколения, тех, кто вырос в шестидесятые вместе с журналом «Юность» и «Звездным билетом»; в его прозе всегда гуляли какие-то нездешние ветры, от которых веяло сквозняком другой жизни, заграницы, промокшей шерстью хемингуэевской кошки под дождем; потом он — вместе с нами, после нас, до нас, когда угодно, но заодно с нами — оказался на Западе; как и мы, осваивал эту чужую жизнь, оставаясь при этом «своим», нашим писателем. Но вот роман «В поисках грустного бэби» вышел — и оказалось, что ждали совсем другого. Оказалось, это не про нас, это — про Америку.

Аксенов уже писал об Америке: в 1976 в «Новом мире» были опубликованы «Круглые сутки нон-стоп». Тогда Америка показалась ему — и через него нам — продолжением карнавала 60-х, праздничным, ярко освещенным действием, вечным «хэппенингом», в котором неустанно движутся смутно очерченные, но стройные фигуры автора и его героев в развевающихся белых одеждах, с белозубыми улыбками на фоне голубого неба и синих гор. Словом, налет чего-то загранично-открыточного лежал на той книге, хотя и не исключая, что автор был в том неповинен и глянцеvitость возникала исключительно по нашему хотению и велению. Тогда, в серовато-бетонных московских буднях, нам такой хотелось видеть Америку. Стоит ли говорить, что наяву она оказалась другой — и не только для нас, но и для автора, через пять лет приехавшего в эту страну навсегда.

Америка в книге Аксенова бесспорно есть. Есть ее география — зеленые холмы Вермонта, урбанизм Нью-Йорка

с его пожарными лестницами и «руинами Сталинграда» в Бронксе, торговые бульвары Лос-Анджелеса, заснеженные дороги Мичигана, есть ее огромность, масштабность и первозданность. Есть ее характер — наивный и добрый, бесшабашный и жесткий, ее провинциальность и самодостаточность, ее скука, когда после заката солнца улицы городских центров пустеют, словно в фантастическом фильме, где показан мир после атомной войны. Эмиграции, жизни эмигранта в романе нет. Но может, и не должно быть? Может, автор этой книгой именно пытался освободиться от чисто эмигрантских комплексов — «поймать, ощутить, уловить — жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую»?

Аксенов не только не открывает Америки — он ее закрывает. И делает это вовсе не для того, чтобы чуть-чуть почистить (как мечтал когда-то «лучший, талантливейший поэт нашей эпохи»). Он закрывает Америку нашей мечты — ту, о которой мечтали его герои, нищие казанские мальчики сталинских сумерек, ту, под джаз которой «балдели» на институтских вечеринках в 60-е (рискуя прослыть стилягами и западопоклонниками), ту, которую он сам увидел в 75-м, приехав сюда гостем. На страницах его новой книги возникает другая Америка, с реальными, не выдуманной советской прессой проблемами, в которые никак не хотел поверить КСЧ — критический советский человек и с которыми ему пришлось столкнуться, прибыв в эту землю обетованную.

В конце семидесятых в Москве с шумным успехом шла пьеса Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого поколения»\*. Героем был инженер, бывший стиляга 50-х годов по прозвищу Бэмс, выгнанный с треском из института за склонность к узким штанам и джазовой музыке. Он так и не сделал карьеры; скромный чистый стиляга стал средним инженером со средней зарплатой. Зато его антипод, некогда участвовавший в исключении его из института, преуспел,

\* «Взрослая дочь молодого человека» (Д. Т.)

заделался большим начальником, ездит по границам, побывал и в Америке. И теперь он точно знает и рассказывает бедолаге Бэмсу, что экзотическое название Чипрачука (что-то вроде того, точно не помню)\*, о которой когда-то самозабвенно пели «стиляги», означает всего лишь крошечный уездный полустанок, глухую провинцию едва ли не чеховского толка. Хоть и не такой Аксенов рисует Америку, но под этим же знаком прощания с иллюзиями молодости написана и его книга.

### МАКАБР И ВОДЕВИЛЬ

Пунктир эмигрантской жизни оказался прочерчен в книгах писателей, обретших имя в Америке, куда, по выражению того же Аксенова, они приехали, чтобы начать.

Марк Гиршин досконально знает тех, о ком пишет. А пишет он об одесских обывателях, заполонивших теперь уже ставший нарицательным Брайтон Бич (его небольшая повесть так и называется «Брайтон Бич»). Перед нами проходит цепь монструозных персонажей, подмеченных острым и беспощадным глазом. Пишоник, в недавнем прошлом заведующий плодо-овощным ларьком на одесском Новом Базаре, одетый посреди раскаленного Нью-Йорка «по всем правилам одесского шика»; писатель Орест Левин, рука которого то и дело норовит достать из портфеля книгу рассказов «Партийцы»; коротышка графоман Марат, сидящий на взлфере; стареющие девицы, уродливые женихи и грузные мамыши, завистливо вздыхающие по поводу чьих-то «устроенных детей»; пенсионеры, часами перемалывающие на «бордвоке» свое номенклатурное прошлое; инвалид, некогда «стоявший на газе», то есть «завбудки газводы на Привозе», и нынче остро переживающий демократичность американских супермаркетов: «Что я кушаю, то ты кушаешь. Я могу кушать все. И ты можешь кушать все. Так где мне было интересней?» То ли дело в Одессе, когда «ты мог только облизнуться такой завтрак кушать». Исключитель-

\* Чаттануга чу чу. Чаттануга — название станции, чу-чу (звукоподражание) — поезд. (Д. Т.)

ность, элитарность того, кто «накрал на двадцать», по сравнению с тем, «кому грозило всего пять лет», здесь выравнивается, и в поисках утраченного времени они, тоскуя, вечерами слушают Одессу по сверхчувствительному приемнику, а женщины каждую неделю покупают себе новых тряпок на распродажах, фотографируются в них, посылают фотографии родственникам в Одессу, потом сдают вещи в магазин, покупают других — и цикл начинается заново.

Эмиграция для большинства из них — не более чем вынужденная поисками красивой жизни перемена места жительства. Они привезли с собой за океан все — самих себя, свои привычки, свое мировоззрение, — и не собираются ни с чем расставаться. Сознание их зашорено, они словно и не в состоянии понять, что в мире, куда они переселились, существуют другие порядки, нравы, наконец, законы — все это их не волнует. Они устраиваются здесь на жительство так же, как обосновывались на дачах. Тщеславие, перемешанное с невежеством и самодовольством, — вот что становится питательной средой, на которой расцветают бурные страсти в стакане воды, вокруг очередных неуклюжих обманов, измен, торговли наркотиками и спекуляции общественными фондами. «Собрались здесь на пяточке обворовывать друг друга, а все вместе — Америку», — мрачно резюмирует положение бывший учитель.

Срез эмигрантского общества дан и в повести Сергея Довлатова «Иностранка», хотя и совсем в других тонах. Гиршин — сугубый реалист, даже скорее хроникер, он бесстрастен и точен в описаниях, он словно бы ничего не выдумывает за своих героев, ограничивая свою роль скромной функцией наблюдателя, объективно фиксирующего события. У Довлатова, как всегда, в прозе царит атмосфера буффонады, романтического приключения, и при точной выписанности и поразительной правдивости деталей получается все же веселый абсурд с легким налетом бреда. Но разве нет этого налета в эмиграции, когда взрослые

люди в 30-40-50 лет вдруг начинают лопотать, как дети, на чужом языке, когда учатся по-новому держаться, по-новому здороваться, улыбаться, общаться? Перед нами не мрачный ряд монстров, как у Гиршина, но цирковой парад-алле, когда все герои шествуют под ярким светом прожекторов, замененных иронически-насмешливым, но вместе и пристально-дружеским взглядом автора. В отличие от Гиршина, Довлатов получает истинное удовольствие, живописуя своих колоритных героев, каждый из которых являет собой абсолютно четкий и прекрасно узнаваемый типаж: тут и отставной диссидент Караваев — которому не хватает в Америке «советской власти, марксизма и карательных органов»; и таинственный общественный деятель, бывший массовик-затейник Лемкус; и достигший полной жизненной гармонии хозяин продовольственной лавки Зяма; и бывший режиссер, а ныне торговец недвижимостью Лернер, и прочие, прочие, прочие.

«В нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля», — так, с ходу, очень просто, по-житейски, начинается повесть Довлатова. Посреди русского района, где все друг о друге знают, друг о друге судачат, друг другу помогают, завидуют, ревнуют, происходит нечто совершенно неожиданное и не предсказуемое досужими кумушками, а потому — из ряда вон выходящее и вносящее определенный хаос в жизненный уклад. И деятельное участие в расхлебывании всего этого хаоса принимает сам автор, вступающий со своими героями в отношения едва ли не романтические. Он выдумал этих персонажей, он выпустил их в жизнь, и они ему нравятся, какие бы они ни были. Таковы правила литературной игры. И потому в духе буффонады и авантюрного романа все должно завершиться легким и веселым безумием: «плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть хорошим», — как пели когда-то на Таганке в «Добром человеке из Сезуана». Сюда же, разумеется, приплюсовываются и традиции американской ме-

лодрамы: последняя глава повести так и называется «Хэппи энд» — влюбленные, после ссор, легкого рукоприкладства, попыток Маруси уехать назад в Союз, женятся. «Тут я умолкаю. Потому что о хорошем говорить не в состоянии. Потому что нам только бы обнаруживать везде смешное, унижительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться. Это грех», — этими словами автора и кончается книга.

### **СТРАДАНИЯ НЕМОЛОДОГО МАССАЖИСТА**

В грех, подмеченный Довлатовым, то и дело впадает журналист Григорий Рыскин. У его книги красивое название — «Осень на Виндзорской дороге», красив и изящно-рваный силуэт дубового листа на ржавого цвета обложке. Этим, однако, вся эстетика начисто исчерпывается. Герой повести, имеющей подзаголовок «Записки массажиста», обладатель двух университетских значков, в эмиграции становится массажистом. «Хороший, сильный массажист. У меня отличная репутация», — не без гордости пишет он о себе.

Когда-то, помнится, было популярно стихотворение Николая Глазкова: «Я на мирзираю из-под столика, Век двадцатый, век необычайный, Чем он интересней для историка, тем для современника печальней». Герой Рыскина взирает на мир еще более своеобразным образом — через ягодички и фаллосы своих американских клиентов, которых он презирает за состоятельность, позволяющую им пользоваться его услугами, а еще больше — за их вопиющую бездуховность: разговор их сводится к обсуждению биржевых новостей, бегов и женщин. Я и сама, читая о муках интеллектуального массажиста, «проживающего среди ягодичек» бездуховных клиентов, ужаснулась мысли: а о чем я беседую с парикмахерами, маникюршами, портнихами и косметичками? Вспомнились какие-то ерундовые, разорванные пустики, бездарная болтовня, вздор, реникса, ничего возвышен-

ного, духовного, стихов с ними не читала, по-французски не говорила, стоиков не цитировала. Да я ж, небось, в их глазах тоже дура-дурой, дубина бездуховная...

Впрочем, не одни только аборигены не нравятся герою. Не обходит он своим презрительным вниманием и нашего брата-эмигранта. Чисто зрительные впечатления сменяются философскими размышлениями об эмиграции как явлении, вложенными в уста программиста Марка. Прием весьма прозрачный: поскольку программисты «третьей волны» вполне преуспели, постольку за словами Марка априори не может скрываться недовольство «желудочно неудовлетворенного человека», которому недодали «зелененьких», — его откровения должны, по идее, выражать святую неудовлетворенность духовной личности в бездуховном мире. Изрекает Марк следующие истины: «Это большое общество. Оно безумно. Безумна его основная цель — непрерывное воспроизводство денежной массы... Как хорошо здесь неразмывляющему обывателю из Союза: токарю, слесарю, механику, торгашу, ювелиру. Он вписался с колес. Это его стихия. А человек с умом и сердцем страдает. Он здесь не нужен. Бездушная машина непрерывного воспроизводства отвергает его». Массажист вяло возражает: «Но ведь выехали диссиденты, поборники идеи». В ответ Марк патетически восклицает: «Не говори мне о них. Это или идиоты, или полууголовники». Узнаете, читатель? Лексикон «ЛГ» и «Известий» десятилетней давности: уголовник Буковский, уголовник Эдуард Кузнецов, литературный власовец... И это тоже знакомо: «Диссидентство есть форма самоутверждения дегенератов, уголовников, вырожденков». После такого убийственного аргумента массажисту крыть нечем, и беседа катится своим чередом, проходя последовательно через этапы обливания грязью Америки («дикая нецивилизованная страна»), американцев («грязные, дикие, вопящие, ...неграмотные ...десятки миллионов ублюдков, и ничего святого») и опять же, по кругу, эмигрантов, которые, оказывается, покинули родину исключительно ради

помидоров в овощной лавке: «Эти роскошные лавки... есть реванш за разнuzданных негров по соседству, грохот над головой, тяжкий труд, ад и преступность сабвея».

С описаниями трудовых будней массажиста и его творческих досугов за пишущей машинкой на осенней Виндзорской дороге (где нет снега вследствие отравления окружающей среды) переплетаются воспоминания из прежней жизни. Довольно-таки обычные воспоминания: рос мальчик без отца, в авиаинститут не приняли из-за антисемитизма, брак распался, с работой напряженка, к тому же — какие-то смутные намеки на околodиссидентские связи, антисоветские писания... Все плохо, страшновато, безвыходно — но зато свое. Как говорит некий случайно встреченный Геолог (вот именно с большой буквы): «Мы здесь в своем элементе. Есть особая химия жизни. Там она не твоя... Там ты не в своем элементе будешь».

Книга Рыскина настолько беспросветна и алогична, что я заколебалась: может, это нечто вроде сатиры? Может, автор в полете художнического воображения задумал изобразить этакого растерявшего все ориентиры, малосимпатичного эмигранта с творческими претензиями, который отнюдь не является авторским двойником, а вложенные в его уста суждения вовсе не представляют собой отражение мыслей самого Г. Рыскина? В конце концов, не настолько же мы наивны, чтобы, скажем, принимать героя «Записок из подполья» за Достоевского. С огорчением признаюсь, что, несмотря на все мои старания, дистанции между автором и его персонажем мне обнаружить не удалось.

С огорчением — потому что в книге есть вторая повесть «Педагогическая комедия», вывезенная из Союза. Написано это тем же неискушенным пером, что и «Записки массажиста», но искренне и без претензий. Рассказчик и герой повести — учитель литературы, влюбленный в свой предмет и не умеющий вписаться в жесткие рамки Наробраза. В конце концов он приземляется в воспитательно-трудовой колонии, в школе для малолетних преступников,

которые и становятся персонажами его повести. «Я не пишу научного трактата, не составляю «менделеевской таблицы» тюремных типов. Я просто всматриваюсь в их лица, вчитываюсь в их бумаги. И за каждой судьбой видится мне загнанная вглубь проблема нашего больного общества», — так, достойно и скромно определяет автор цель своей книги. И как не похож этот человек, искренне пытающийся понять своих учеников, мечтающий хоть чуточку выправить их скособоченные детские души, на мизантропа из «Записок массажиста». У него другие принципы, другие идеалы, другое отношение к жизни. Вот что говорит он, например, о диссидентах: «люди, преодолевшие страх, вступившиеся за попранное человеческое достоинство, за право открыто и честно высказывать свои мысли». И дальше: «Их честные имена обливает грязью лживая пресса. Но их имена внушают надежду, что когда-нибудь учитель явится в класс без кляпа во рту...»

Да, если «посравнить и посмотреть», то, пожалуй, и в самом деле, правы были друзья учителя Рыскина: не стоило ему ехать в эмиграцию, чтобы превратиться в озлобленного, задавленного «свинцовыми мерзостями жизни» массажиста.

Можно, конечно, поверив издательской аннотации, заключить, что перед нами, действительно, «история противостояния бездуховности ... в безнадежных обстоятельствах». Беда, однако, в том, что постоянно декларируемая и как бы само собой разумеющаяся духовность героя ничем не обеспечена, разве что декламацией Гейне — хрестоматийного пролога к «Германии. Зимней сказке» — на чистом немецком языке да неудачными творческими потугами автора, каковы, увы, никак не могут рассматриваться в качестве залога духовности.

## В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОГО СЛОВА

Если для героев Гиршина и Довлатова эмиграция — это, в общем, просто перемена обстоятельств места и действия, то для героев Зиновия Зиника эмиграция являет собой некий эпический и метафизический опыт. Зиник — единственный из эмигрантских писателей, кто постоянно и последовательно разрабатывает в своих книгах тему эмиграции. Герои его ранних книг в большей или меньшей степени копируют опыт самого автора, автор же был легко узнаваем не только благодаря своей более или менее типичной для «шестидесятника» биографии, но и явной принадлежности к тем московским кругам, от которых, как подмечает сам Зиник, остались «лишь круги на воде», к кругам, «живущим телефонными раскаяниями и застольными обидами, запрещенными книгами и недоступными знакомствами». «Герой моего романа, — пишет Зиник, — это всегда человек, который вынужден излагать детали своего интимного прошлого под нажимом эпических обстоятельств: как под следствием, как это бывает в революцию, как это бывает в результате отъезда. И в этом смысле для меня настоящий роман — это попытка сказать то, что больше всего на свете обязан был скрывать. Только растеряв все регалии московского бонвивана и шизоида, только под нажимом чуждого и великого вечного города цивилизации, где он очутился вроде бы по собственной воле, мой герой способен вспомнить о себе то, что всегда старался забыть, вспомнить, пересматривая перепутанные архивы прошлого».

Повести Зиника откровенно и даже несколько вызывающе литературны, замешаны на литературе, из литературы вырастают. В основе их всегда некая более или менее заметная и уже отработанная прежними писателями метафора. В «Извещении» действие вырастает из сказки Гауфа «Маленький Мук», в «Нише в Пантеоне», где весь сюжет замешан на Анатоле Франсе, есть еще к тому же и

собака Каштанка, которую герой на время отъезда отвозит к дрессировщику и тот, естественно, моментально переименовывает ее в Тетку. В «Перемещенном лице» скрытой — впрочем, не очень! — пружиной становится пастернаковское «не надо заводить архива, над рукописями трястись», а в «Русской службе» сюжет вылупляется из ахматовского «мне голос был». Я уж не говорю о несметном множестве более или менее скрытых (а вернее, явных) цитат, имитирующих стиль разговора, принятого опять же в тех московских кругах, принадлежности к которым этими самыми цитатами и подтверждается постоянно.

Герои Зиника всегда профессионально связаны со словом: Максим в «Уклонении от повинности» — синхронный переводчик, Четверган из «Перемещенного лица» — специалист по фольклору, профессор по смеховой культуре древней Руси, сотрудник Института русского языка, Револют в «Нише в Пантеоне» — металогик. Даже имя возлюбленной Максима наводит на мысль о письменности: Алефтина — от буквы в иврите «алеф». Поэтому для них так важны слова, которые на чужбине неизбежно должны превратиться в слова чужого языка. Процессу этому герои Зиника противятся изо всех сил, пуская в ход самые изысканные способы, «предпочитая слово делу» и надеясь таким образом удержать при себе покинутую жизнь.

Четверган гордится своим преаккуратнейшим архивом, вывезенным из прошлого: «бумажка к бумажке, письмо к письму, обратный адрес к обратному, марка к марке, номер к номеру, жизнь к жизни. Пролистать и умереть. Что, собственно, и предполагалось: пролистать и умереть. Сначала просиять и уехать, а потом пролистать и умереть. Превратив свою жизнь в цитату из чужого разговора, разложенного по конвертам».

У Революта свой архив, свой способ хранения прежней жизни: то, что он вынес на себе и с собой оттуда, — беззубый рот (зубы потеряны в тюрьме), ботинки фабрики «Большевик», купленные тетушкой, часы марки «Победа»,

подаренные племянником, — вещи, которые в новой жизни отказываются служить старому хозяину, капризничают, ломаются, да и просто теряются. А зубы вставлены новые — с эпизода в кресле у зубного врача и начинается, собственно, повествование, и процесс превращения Революта в эмигранта, то есть в человека, сверх меры обремененного прошлым и вместе с тем этого прошлого лишённого.

В новой жизни продолжают поиски старой — аналогов, сходства, похожестей, ассоциаций, знакомых лиц, запахов, красок. И тогда Иерусалим оказывается перпендикулярно под Москвой, как прежняя дача (которая, разумеется, была в Новом Иерусалиме), а кресло на колесиках в иерусалимской квартире Четвергана точно такое же, как осталось в Москве. И до тех пор, пока герои удовлетворяются этими осколками прошлого в настоящем, длится их выморочное существование между двумя мирами, когда «вместо того, чтобы увидеть Иерусалим собственными глазами», они предпочитают путеводитель по Иерусалиму. Но наступает момент, когда цепь связи с прежней жизнью либо рвется вовсе, как у Революта, вконец теряющего все регалии прошлого, или как у Максима, посреди израильской пустыни сжимающего в руке винтовку. Либо же — напротив — каким-то непостижимым образом эта цепь оказывается куда прочней, чем казалось, как у Четвергана, у которого в Москве через девять месяцев после отъезда рождается ребенок, и для разлученных героев настает пора идти навстречу друг другу. То есть автор фиксирует момент, когда «переселение тел из одной страны в другую», которым до сих пор была для его героев эмиграция, наконец превращается также и в переселение души, до сих пор пребывавшей где-то в багажном вагоне или «в чемодане, украденном на таможне».

В «Русской службе» у Зиника появляется совершенно новый герой — и потому, мне кажется, пока это лучший роман писателя. От прежних персонажей он отличается прежде всего тем, что бессловесен. Наделяя героя говорящей фа-

милией — Наратор (очевидно, от латинского корня «narrare» — рассказывать) и придавая ему в качестве отца Кирилла Наратора «с партийной кличкой Кириллица», участника кампании за ликвидацию безграмотности, автор вместе с тем начисто лишает героя дара слова: «у него вообще были трудности с речью и ему было легче жить, вообще не говоря». Зато у Наратора есть другой талант — корректорский: «никто лучше него не мог заметить орфографическую ошибку в докладе директору и подчистить букву «ж» так, чтобы вышла буква «х». Между тем искус Наратора, сделавший его перебежчиком, чисто словесный — начав в сорок лет слушать «вражеские Голоса», Наратор открывает для себя другой мир, поистине потусторонний, существующий по ту сторону приемника. Так реализуется метафора — «мне голос был, он звал утешный», и под влиянием этого голоса Наратор и в самом деле оставляет Россию навсегда, чтобы в Лондоне приступить к службе на русском радио.

Герой не в состоянии ни расстаться с прошлой жизнью, ни начать новую; прошлое преследует его страшноватыми картинами бреда, переплетаясь и путаясь с бездарно-безрадостным настоящим. Перед ним возникает мифический Лондон, «другой мир, для которого тоже не было слов. Предыдущие улицы его жизни тоже были бессловесны, потому что были настолько безлики и депрессивны, что и слов не требовалось». Новый мир непонятен и пугающ, в нем нет слов, понятных дефектору, а в тот самый момент, когда он наконец вдруг что-то понимает, или хотя бы готов понять, его настигает смерть — точку на его жизни ставит отравленное острие зонтика, укол, та самая бредовая смерть, которой пугали его дефекторские сны и рассказы подлинных и мифических перебежчиков и досужие вымыслы шпионских служб. Так реализуется последняя метафора: из Маяковского, требовавшего когда-то, чтобы к штыку приравняли перо — «перо» на блатной фене означает нож; а зонтик, от которого Наратор постоянно ждет самых неправдоподобных и даже смертоносных неприятностей, в его со-



знании приравнивается к штыку отца, которым тот некогда помогал строить новый мир, выкорчевывая остатки прежней орфографии в лице ижицы и ятя. Круг замыкается: бедный Наратор получает свое за безмолвие, бессловесность и дефекторские страдания, так и не воплотившиеся в слова.

Но одновременно этот последний метафорический укол становится и метафорой существования писателя в эмиграции, где едва ли не для каждого искусом и примером — неосознанно, сознательно ли — становится Владимир Набоков, сумевший претворить в слова обе половины своей жизни и судьбы. Этот туманный, но соблазнительный образ манит, маячит перед нами, суля выход из языкового вакуума, переход в другое, более высокое состояние. Но пока что ничего подобного в нашей литературе даже не обозначилось. Что ж, будем терпеливы. Может, для этого требуется большой опыт, большая дистанция, и кто знает, может, в конце концов о третьей волне напишут писатели еще не заявившей о себе, едва проклюнувшейся четвертой?



*Предлагаем вниманию читателей очередное интервью профессора Мэрилендского университета Джона Глэда из его цикла «Беседы в изгнании: мозаика русской эмигрантской литературы». В этом номере публикуется интервью с писателем Борисом Хазановым.*

## ДИСЦИПЛИНА И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

ИНТЕРВЬЮ С БОРИСОМ ХАЗАНОВЫМ

**ДЖОН ГЛЭД:** Давайте начнем с самого обычного, житейского, а потом перейдем к более широким вопросам. Расскажите немножко о себе, об аресте, о лагере, об эмиграции...

**БОРИС ХАЗАНОВ:** Я хорошо помню время, когда человек тридцатилетнего возраста казался мне стариком, а пятидесятилетний — почти невероятным долгожителем. Сейчас мне 60 лет, я старше своей покойной матери, скоро буду почти такого возраста, как мой отец, тоже умерший. Я родился в Ленинграде, а вырос в Москве. Молодым человеком, даже совсем молодым, был я рабочим на почтамте, потом учился в университете на классическом отделении. Это оставило некоторый след в моей жизни. На пятом курсе меня арестовали. Полгода я сидел в Москве, в тюрьме.

Сначала на Лубянке, как тогда было принято, потом в Бутырской тюрьме...

Д.Г. Когда это было?

Б.Х. Это было в 49-ом году, в начале 50-го.

Д.Г. И обвинения?

Б.Х. Я был осужден особым совещанием. Это заочный суд, никто, собственно, толком не знал, что это такое... Меня приговорили к 8 годам лагерей по статье 58-10, часть первая: «Антисоветская агитация и пропаганда». Сидел я в Унжлаге. Это был один из крупных лагерей в европейской части России, главным образом, в Костромской области. Немного недосидел и был на волне хрущевских реабилитаций в 55-ом году условно-досрочно освобожден.

Д.Г. Медициной в лагере не пришлось заниматься?

Б.Х. Нет, я тогда еще ничего общего не имел с медициной. Но позднее мое решение учиться медицине было основано не только на том, что я испытывал определенные симпатии к этой профессии, но, главным образом, потому, что, как вообще почти все отпущенные на волю лагерники, я не верил в то, что долгое время проживу на воле. Я был почти уверен, что оттепель пройдет, снова начнется нормальное состояние, такое, в котором мы выросли, меня снова возьмут, и уж на сей раз я не буду таким беспомощным, потому что кроме латинского и греческого у меня будет знание медицины. Если я проучусь хотя бы два-три года, в медицинском институте, то уже смогу быть по крайней мере фельдшером. Фельдшер в лагере — это нечто такое, что не идет ни в какое сравнение с обыкновенным заключенным. Поступить в медицинский институт было сложно. У меня был «волчий билет» — паспорт с определенной пометкой. Внешне он ничем не отличался от обычного паспорта. Но любая девчонка в паспортном отделе милиции мгновенно видела эту маленькую пометку и понимала, что она означает. Тем не менее, я поступил: с разными приключениями, но выдержал вступительные экзамены.

ны. Окончил Калининский медицинский институт, врачом начал работать еще будучи студентом. Потом работал в деревне и так далее... Потом стал сотрудником самиздатовского подпольного журнала. Сам я, пожалуй, не был диссидентом, потому что занимался не общественной, а литературной работой — переводами, собственным писательством. Одна моя книжка вышла за границу. Это была первая книжка под названием «Запах звезд». Она была издана в Израиле, в значительной степени без моего ведома... Короче говоря, после двух обысков, вызовов в прокуратуру и КГБ, после того, как у меня отняли все мои рукописи, в том числе целый роман (я потом написал его заново), мне достаточно прозрачно намекнули, что я должен либо убираться, либо готовиться к худшему. Несколько лет я находился под следствием... Но самый отъезд за границу совершился сравнительно легко. Моя жена и мой сын к этому времени, что называется, созрели для эмиграции, очень хотели уехать... Я был, в сущности, последним в семье, кто принял это решение.

Д.Г. А почему вы выбрали Мюнхен, почему Германия? Вы довольно большое значение придаете вашему еврейству. Казалось бы, Германия...

Б.Х. Как большинство людей, уезжавших в то время за границу, я, собственно, не представлял себе своего будущего, я даже толком не знал, куда поеду. Главное было уехать, а там — куда кривая вывезет... Вообще говоря, я с превеликим удовольствием уехал бы в древнюю Грецию. К сожалению, туда не продают билетов... Оставалось две возможности: либо Израиль, либо Федеративная Республика. Израиль не требует особых объяснений. Что касается Германии... Видите ли, моя жизнь сложилась так, что я постоянно имел дело с немецким языком, с немецкой литературой и философией; о музыке и говорить нечего... В детстве я довольно хорошо говорил по-немецки, потому что ходил в немецкую группу. Потом забыл этот язык, учил его

снова, когда мне было лет 14-15. Это было в эвакуации, во время войны. Может показаться странным, почему я взялся именно за немецкий язык, да еще в те времена, когда все немецкое вызывало ненависть, но так получилось. У меня были всегда книги. Я привык жить в этой особой атмосфере германской культуры. Это громко звучит, но для меня в этом есть нечто личное.

Д.Г. Именно германской?

Б.Х. Да.

Д.Г. Не французской, не английской?..

Б.Х. Видите ли, как у многих, в моей жизни был немецкий период, был французский период. Но Германия — это была первая любовь, как ни странно, совпавшая со временем войны. Кстати сказать, я отнюдь не закрывал глаза на то, что это страна, запятнавшая себя фашизмом. Больше того, я читал в Москве гораздо больше об этом, чем многие из моих сверстников. И вот, когда я сошел с самолета в Вене — это странно звучит, и трудно передать это чувство, — самое большое впечатление на меня произвели надписи, надписи на немецком языке. Это было для меня, как если бы я попал в Древний Рим и увидел бы там латинские надписи и услышал бы, как народ говорит по-латыни. Нужно сказать, что это специфическое отношение к Германии, постоянное чувство или постоянная иллюзия узнавания (то, что в психиатрии называется *deja vu*) имело и свои отрицательные стороны. Оно сослужило мне дурную службу. Нельзя постоянно смотреть на жизнь сквозь очки литературы, истории и философии. Выяснилось, что большинство людей живет, не обращая никакого внимания на то чрезвычайно важное для меня обстоятельство, что они потомки той, великой и вечной Германии. Я понимаю, что все это вызывает раздражение у моих товарищей по судьбе, но что поделаешь, я действительно испытываю симпатию к этой стране.

Д.Г. Так что вы сидите даже не между двух, а между трех стульев?

Б.Х. Я всегда сидел между стульями и привык к этому. Я не могу понять системы взглядов, по которой надо сидеть либо на одном стуле, либо на другом. Например, что надо быть либо русским, либо евреем. Я еврей, но считаю себя русским интеллигентом, и мне совершенно наплевать на то, как отнесутся к этому те, кто провозглашает себя истинно русскими людьми... Если угодно, я не менее русский, чем они. Мы все живем в великой европейской культуре или, по крайней мере, должны постараться жить в ней, потому что это и есть наша единственная родина. И эта родина включает в себя и Россию, и Германию, и Грецию, и иудаизм, если хотите.

Д.Г. А теперь как вы себя чувствуете в Германии?

Б.Х. Я стал эмигрантом пятидесяти с лишним лет — было бы смешно тешить себя иллюзией, что можно вполне ассимилироваться, войти в эту жизнь и чувствовать себя полностью своим среди своих. Естественно, я чувствую себя эмигрантом. Но я не испытываю отталкивания от этой жизни. Она меня интересует. У меня много знакомых и друзей среди немцев. Надо сказать, что немцы, в то время незнакомые люди, помогли мне, моей жене и моему сыну. За это надо быть благодарным. Надо вообще быть благодарным стране, которая приютила нас и дала возможность хоть как-то жить.

Д.Г. Вы пишете в одной из ваших статей, что «третья волна» уехала с идеями 60-х годов. Но мы приближаемся к 90-м годам. Что изменилось за это время в культуре, в литературе? Остается ли эмиграция капсулой времени, где все сохранится, как было? Или она сохранится в качестве культурной колонии России?

Б.Х. Меня не оставляет чувство, что запас идей, с которыми прибыла сюда эмиграция моего поколения или «третья волна», исчерпан. Может быть, это связано попросту с исчерпанностью жизненных потенций всего этого поколения. Эти идеи звучат сейчас, как банальность. Это

относится и к политическим представлениям третьей эмиграции, и к ее литературным взглядам, поскольку о них можно судить по высказываниям писателей и по их произведениям.

Д.Г. Не могли бы мы поговорить более конкретно об этих представлениях?

Б.Х. Позвольте мне ограничить ваш вопрос и мой ответ литературной артикуляцией, литературой как выразителем этой эмиграции. Эмиграция эта, конечно, пестрая. Но если говорить о литературе, то можно сказать, что с самого начала в ней образовалось определенное ядро. Это наиболее известные популярные писатели, завоевавшие себе место в литературе еще в Советском Союзе. Обыкновенно это просто бывшие советские писатели, в том смысле, что это бывшие члены Союза советских писателей.

Д.Г. Вы можете назвать имена?

Б.Х. Солженицын, Войнович, Владимов, Гладилин, Коржавин, Максимов, до некоторой степени Синявский, литературная юность которых совпала с оттепелью 50-х — начала 60-х годов. Имена многих из них впервые появились в «Новом мире» или в «Юности» — в журналах, которые тогда задавали тон. Сейчас можно заметить, что все эти писатели принадлежат к одной школе, хотя они и очень разные. Конечно, Солженицын и, допустим, Максимов — это писатели очень непохожие друг на друга, не говоря уже о других. Тем не менее, у них есть нечто общее — некоторые принципы мировоззрения, не обязательно конкретные идеи, а скорее принципы художественного творчества, которых они придерживаются, — короче говоря, их литературное кредо.

Д.Г. Что вы имеете в виду?

Б.Х. Тут мне придется придумать термин: я не хочу сказать «соцреализм», потому что это уже очень скомпрометированное понятие. Хотя, с моей точки зрения, к нему следовало бы отнестись всерьез, а главное, толковать его

не столько в политическом, сколько в эстетическом смысле. Это новая поросль реалистов, писателей, которые ощущают себя общественными деятелями, которые рассматривают литературное творчество — прозу или поэзию — как художественное исследование действительности, причем под действительностью подразумевается и конкретная жизнь отдельного человека и жизнь всего общества в данный момент. Поэтому эта литература очень социальная. Не зря писатели, которых я упомянул, выступали в свое время как критики советского общественного строя и, вообще, русской жизни тогдашней. Это писатели, которые думают — и не без основания, — что они выражают в своем творчестве чаяния, надежды и настроения народа. Это писатели, которые интересуются человеком из народа, мужиком, рабочим, массовым человеком, который сегодня представляет советское общество. Эти писатели, как правило, чужаются рефлексии, в частности, саморефлексии. Их проза предполагает, что существует некая единая образная и общеобязательная версия действительности. Задача писателя — внимательно рассмотреть эту действительность, увидеть в ней какие-то незамеченные особенности, но сомнений в том, что эта действительность такова, какова она есть, нет. Это писатели, о которых можно сказать, что в общем они сторонятся интеллектуализма, чужаются всякой изысканности и не ощущают себя аристократами в литературе. Все это накладывает определенный отпечаток на их язык, их стиль.

Д.Г. То есть, это своего рода примитивизм?

Б.Х. Нет, это не примитивизм, отнюдь нет. Вообще, мне бы не хотелось, чтобы вы меня поняли в том смысле, что я пренебрегаю этой литературой или презираю ее. Но эта школа принципиально нового слова в литературе уже не скажет, притом что, по большей части, это высокоталантливые писатели, которыми действительно можно гордиться. Я очень люблю произведения Войновича, высоко ценю

Синявского — правда, он как писатель стоит в стороне, это уже немножко другой вопрос. Уважаю и даже очень люблю ранние произведения Солженицына. Но Солженицын и другие — с чисто профессиональной точки зрения, литература, которая принадлежит к вчерашнему дню. Возможно, мы имеем дело с чисто биологическим феноменом: люди стареют, ожидать появления богатой, многолюдной смены в эмиграции, естественно, не приходится. Вместе с тем, в эмиграции есть и нечто другое, что во многом противостоит этой литературе. Я бы назвал Горенштейна и, конечно, Бродского, которого, пожалуй, даже и не стоило бы в этом смысле называть эмигрантским поэтом или писателем.

Д.Г. А кем же?

Б.Х. Может быть, Бродский — единственный в нашей литературе, и не только здесь, но и в Советском Союзе, кого можно назвать поэтом-модернистом. Это уже нечто качественно совершенно иное, тем более, что названные выше авторы — это «до-модернисты».

Д.Г.. Все-таки из того, что вы сказали, получается, что писатели, которых вы назвали, пишут на более низком, в смысле качества, уровне, чем, скажем, тот же Бродский. Однако в ответ вам могут возразить, что хребет русской литературы был сломан (он и был сломан в самом деле), что была создана пролетарская культура, пролетарская литература, не интеллектуальная, не такая утонченная, какой могла бы быть, и нельзя винить в этом писателей, ибо их лишили того, что они естественно получили бы при нормальных условиях. Отсюда и шаг назад в смысле качества.

Б.Х. Минуточку... Я отнюдь не считаю тех, о ком мы говорим, какими-то неполноценными писателями. Кто из всех нас вообще посмеет себя считать полноценным писателем, в том смысле, что его будут читать и через 20. и через 50 лет?

Д.Г. Подавляющее большинство писателей именно так и думают о себе...

Б.Х. Конечно, нужно в это верить. Писательское ремесло — это совершенно безнадежное занятие, и если еще лишиться веры в себя, тогда вообще надо перестать писать. Это единственное, что поддерживает писателя: фанатичная вера в то, что он может выразить в слове нечто такое, что до него никто не выразил. Но если вернуться к нашей теме, то мне лично скучно читать таких писателей. Мне скучно, например, читать Солженицына, при всем том, что, конечно же, это человек и заслуженный, и известный во всем мире, и видимо, человек, который оставит неизгладимый след в литературе. Тем не менее, он кажется мне банальным писателем. Почему? Я уже сказал об этом. Мне органически чужда литература, которую он представляет и представляет исключительно ярко: назовем ее условно соцреализмом, я ведь уже сказал, что вкладываю в это понятие прежде всего эстетическое содержание. Я полагаю, что можно быть социалистическим реалистом и врагом советской власти — одно другому не мешает.

Д.Г. Давайте все-таки будем более конкретны. Какие произведения «соцреализма» вы имеете в виду?

Б.Х. Ну, например, последние книги Солженицына, романы из цикла «Красное колесо».

Д.Г. А еще?

Б.Х. Последнее произведение Владимова, его роман о войне. Книги Максимова. Я должен оговориться: ни с кем из этих писателей я лично не знаком. Максимова, например, никогда в жизни не видел. Но его проза вызывает у меня непреодолимую скуку.

Д.Г. Вы сказали раньше, что он совсем не похож на Солженицына...

Б.Х. Сфера его интересов, насколько я понимаю, иная, чем у Солженицына: он в большей степени памфлетист, писатель фельетонного склада. Хотя его последняя книга — тоже такой исторический или квази-исторический роман, он, в общем-то, на широкие эпические обобщения не

покушался. Вместе с тем, у обоих авторов есть очень много общего. Если вы проанализируете фразу, построение фразы, язык, словарь, эту особую народность и у того, и у другого писателя, вы увидите, что они и в самом деле близки.

Д.Г. Относите ли вы к этой школе Зиновьева?

Б.Х. Я не упомянул его, перечисляя «звезд» нашего литературного небосклона, по простой причине: Зиновьев не художник, а мы говорим о художественной литературе. Зиновьев — человек разнообразно и необычайно одаренный, но ему чужд художественный взгляд на мир. Ему не хватает дисциплины, без которой искусство не существует. Ему не хватает еще одного качества — это, может быть, покажется вам странным, но я поясню, что имею в виду, — ему не хватает безответственности. Видите ли, если бы мы пытались перечислить или охарактеризовать принципы литературы как таковой, именно литературы как художественного творчества, мы должны были бы назвать два принципа: дисциплину и безответственность. Дисциплина — это то, благодаря чему писатель овладевает стилем или стиль овладевает им, это постоянная работа над словом, над фразой, над абзацем. Это то, что завещано Флобером. Слово есть, в этом смысле, самоцель. Стиль есть самоцель. Без дисциплины писать невозможно, без дисциплины пишутся частные письма, или такие книги, как пишет Зиновьев. Второй принцип — безответственность. Попробую объяснить, что это такое. Безответственность — это условие литературной работы, когда вся тематика писателя в широком смысле слова представляет собой лишь материал. Если это не так, литература изменяет сама себе. Я считаю, к примеру, Войновича настоящим, подлинным художником потому, что у него есть то, о чем я говорю, вот эта безответственность. Эта безответственность почти совершенно исчезла из книг Солженицына — она была у него раньше. Ее нет в книгах Максимова. Ее нет или почти нет у Вла-

димова, у нескольких других писателей... Безответственность — это отношение к любому материалу — жизненному, биографическому, фольклорному, книжному — именно как к материалу. Литературе ничто не противопоказано. Мы все воспитывались в школе русской литературной критики прошлого века и верили Белинскому, когда он говорил, что наука — это мышление в понятиях или с помощью понятий, а художественное творчество — мышление образами. Кроме того, мы верили в то, что литература пишется для чего-то внеположного ей, что она служит народу, сознательно, активно. Но что значит служить народу? Совершенно непонятный вопрос. Словом, мы привыкли относиться к литературе как к средству так или иначе оценивать действительность — будь то политическая действительность, социальная или, скажем, нравственная или религиозная. На самом деле для литературы все это — научные идеи и собственная жизнь писателя, и жизнь его близких, и философские проблемы, и религия, и вопрос о существовании или несуществовании Бога, и ужасы, какие мы видели в Советском Союзе, буквально все — только материал. Это материал для чего-то, что определить однозначно очень трудно. Поэтому я совсем не считаю, например, что писателю противопоказано, допустим, мышление в понятиях.

Д.Г. Вы, наверное, не одобряете и Лимонова?

Б.Х. Лимонов — это совсем другой жанр. Это натуралист... Я не против таких упражнений, но... Что Лимонов? Понимаете, это человек, не лишенный дарования... но меня смущает в произведениях Лимонова и его подражателей не то, что он назвал неназываемые вещи своими именами, не этот необычный для русской литературы цинизм, а то, что писать так, как он пишет, просто очень легко. Это самый легкий путь, это болезнь, которую переносят очень многие. Нам будто бы говорят: «Вот, вы все пишете тут, лицемерите, прикрываете фиговыми листочками злую и

страшную правду жизни, а я ее вам покажу, как она есть, я раздену человека, и вы увидите: вот она, голая правда. Несчастье заключается в том, что, раздевая человека, вы сами не замечаете, как постепенно теряете человека, потому что вы снимаете с него одежду, и это означает, что вы уже часть его существа отняли от него. Но вы хотите идти по этому пути дальше, и вы сдираете с него кожу, и вы получаете анатомический препарат. Можно таким образом содрать и мышцы, останется один скелет. Это уже совсем не человек. В этом заключается парадокс натурализма... Натурализм стремится разоблачить действительность до конца, раздеть женщину до белья — вот она! И увидеть, наконец, то, что так тщательно скрывалось. А вы знаете хорошо, что раздетая женщина действует на воображение не так, как одетая. Вся соль как раз и состоит в умении одеться так, чтобы казаться раздетой, не правда ли? Книги Лимонова произвели впечатление на русского читателя, который никогда не видел напечатанным мата, никогда не видел перед собой эти размазанные в таком изобилии сентиментальные сексуальные сопли. Вместе с тем, настоящая жизнь человеческой души исчезает из такой литературы.

Д.Г. А как насчет Алешковского?

Б.Х. Если вы позволите мне сослаться на Флобера (хотя между Флобером и Юзом, кажется, нет ничего общего) — то не зря многие думают, что лучшее, что написал Флобер, — это его письма, которые вроде бы не предназначались для печати. В письмах, которые я время от времени получаю от Юза Алешковского, его талант расцветает, как фантастический, яркий цветок, независимо от того, о чем он пишет... Но вместе с тем, мне кажется, что жила, которую с таким успехом Алешковский разрабатывал в течение многих лет, что обеспечивало ему совершенно особое место в литературе...

Д.Г. Исчерпана?

Б.Х. Да, она исчерпана, выработана.

Д.Г. В эмиграции писатели вынуждены писать так много, потому что у них нет ни минуты отдыха, чтобы как-то прийти в себя от предыдущего произведения. И получается не то чтобы монотонность, но какая-то повторяемость.

Б.Х. Не знаю, виновата ли в этом эмиграция. В конце концов, самоповторение и самоцитирование — удел очень многих писателей. Великие писатели без конца разрабатывали один и тот же мотив, вращаясь в кругу излюбленных сюжетов, героев, подобно тому, как некоторые художники постоянно рисовали одно и то же лицо. Но вы правы, конечно. Это состояние такой перманентной лихорадки, не дающей человеку подумать, остановиться или хотя бы подождать, пока вода в колодце наберется, вызвано, может быть, трудной жизнью в эмиграции, необходимостью постоянно зарабатывать. Литературный труд не приносит дохода, но хоть каким-то образом некоторым дает возможность оставаться на плаву. Приходится поддерживать свое существование и особой внутренней лихорадкой, страхом задержаться на минуту, потому что тогда возникнет страшное сознание, что не можешь больше писать, надо постоянно доказывать самому себе, что ты в состоянии выдавать все новые и новые вещи... Есть необычайно плодовитые писатели в эмиграции, которые выпускают книгу за книгой. К сожалению, это почти всегда макулатура, потому что они повторяют себя. Написав одну удачную книгу, они ее потом без конца размножают. Но лучше я воздержусь от каких-нибудь обобщений, потому что творчество, знаете, как... половая жизнь — ритм у каждого человека свой, не правда ли?

Д.Г. Вы писали и в СССР, и в эмиграции, хотя в СССР художественную литературу не печатали. Если не говорить о цензуре, что тут изменилось?

Б.Х. Для меня, вообще говоря, ничего не изменилось, мне нечего было терять... в собственно литературном смысле

слова. Внешне изменилось то, что никто ко мне не придет, не отнимет у меня мои рукописи, не потащит меня на допрос. Это, конечно, немалое приобретение. Что же касается самого мировоззрения, импульсов, те, которые меня интересуют, то я, видимо, как и все, как-то меняюсь: мои прежние произведения меня совершенно не удовлетворяют. Я надеюсь, что мне удастся создать что-то в другом роде. Но основные принципы работы, то, что вытекает из особенностей личности, — все это, естественно, осталось. Я был одиночкой там, остался одиночкой и здесь. Я, в сущности, работаю в безвоздушном пространстве. Конечно, я издал несколько книг, время от времени печатаю статьи, но я не представляю себе, кто это все читает, читает ли это кто-нибудь вообще. Я могу добавить, что странным образом немецкие переводы моих книг вызвали гораздо больше откликов... Но это ведь не тот читатель, к которому я, теоретически говоря, обращаюсь.

Д.Г. «Первая волна» эмиграции была достаточно многочисленной, было какое-то сообщество. Теперь, если говорить о литературе «третьей волны», то она в большой степени существует за счет всякого рода дотаций — правительственных или частных учреждений. Читателей немного. Может быть, это повышает чувство одиночества. Адамович назвал сборник своих статей «Одиночество и свобода». Как вы думаете: находится ли «третья волна» в каком-либо смысле в принципиально другом положении, чем вторая или первая волна?

Б.Х. Конечно, разница очень велика. Начать с того, что литературная эмиграция послереволюционной поры состояла из высококультурных и высокообразованных людей, отнюдь не чувствовавших себя чужими в Европе. Это очень важно, не говоря уже о том, что многие или даже большинство из них владели языками. Это были люди, воспитанные в школе русского европеизма, независимо от того, считали ли они себя славянофилами, патриотами, или, на-

против, космополитами или западниками; были ли они реакционеры, консерваторы или левые, или либеральные, — независимо от всего этого. Это были люди, которым казалось, что они привезли с собой свою страну. А та страна, которая продолжала существовать, уже была совершенно другая, новая и чуждая им страна. Они в полном смысле слова чувствовали себя спасителями русской цивилизации.

Д.Г. Или могильщиками?

Б.Х. Ну, это другой вопрос. Та эмиграция, к которой принадлежим мы, состоит из людей, воспитанных в Советском Союзе, людей, не чувствующих себя полностью оторвавшимися от страны. Многие из представителей этой третьей эмиграции склонны думать, что страна подпала под чье-то инородное или иноземное иго, но в сущности она там, а мы здесь — только осколки и искры этой страны. Сознание того, что ты привез с собой на плечах великий багаж — наследие русской культуры, русского духа, — это сознание не присуще современным изгнанникам. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Может быть, это и хорошо. Наконец, приходится признать, что по большей части это люди с довольно ограниченным культурным багажом. Я не хочу и, может быть, не имею права конкретно упрекать кого-нибудь или приводить примеры. Их более, чем достаточно, к сожалению... Это люди, представляющие целую большую поросль, выросшую и воспитанную в изоляции, для которых Западная Европа — не страна святых чудес, как ее когда-то называли в России, а чужбина в полном смысле слова. Какие-то чужие люди, чужие названия. Вещи, предметы, просто слова, которыми насыщена старая литература, — эти священные пароли европейской культуры, большинству людей нашей эмиграции чужды. Они им ничего не говорят. Это действительно результат жизни в большой стране, которая сама себя ощущает целым миром и которая в то же время является большой провинцией.



Д.Г. Если говорить о том, что вы называли безответственностью, то можно ли сказать, что этого больше в русской литературе, чем в немецкой?

Б.Х. Безответственность писателя в том смысле, в каком я о ней говорил, — это не то же самое, что бесхребетность языка. В немецком языке есть нечто рыцарственное, он очень строг. Вместе с тем, он тяжеловесен. Да, тяжеловесен, он закован в латы. И, наконец, он обладает совершенно недостижимой, как мне кажется, для русского языка энергией. Есть определенные приемы, есть известные правила этого языка, есть вот эти самые частицы, выражающие движение, которые придают необычайную энергию. Не зря это язык военных команд, не правда ли? Русский язык, как бы это сказать... расслабляет и размагничивает писателя. Русский язык очень склонен к плеоназмам. Лучшие русские писатели, за сравнительно редкими исключениями, были очень многословны. Но в XIX веке можно было позволить себе эту роскошь. В XX веке такой номер уже не проходит. Поэтому я говорил о дисциплине. Плеоназмы на каждом шагу, мы даже их не замечаем. Когда мы, например, говорим «маленький домик», мы допускаем этот самый плеоназм. Русскому писателю приходится быть вдвойне настороже, потому что опасность растекания, разжижения языка очень велика. Она лежит в какой-то степени в природе нашего языка, в его безудержной свободе. Надо уметь ценить эту свободу именно в том, что ты ее постоянно ограничиваешь. Только тогда она представляет собой абсолютную ценность. Настоящая свобода — в дисциплине — правило, которое сформулировал Гете. Что же касается западных языков, то это, видимо, еще в большей степени, чем к немецкому, относится к французскому языку, который весь высох... высох и сделался очень концентрированным, как какой-нибудь сладкий сухой коржик, — там этой опасности нет. Кроме того, там литература успела приобрести более окультуренные формы. Молодому писателю она предлагает готовые правила. Русский же писатель может позволить себе, по

крайней мере, в начале своего творчества, распоясаться, безудержно болтать, и все еще будет считаться писателем.

Д.Г. Давайте поговорим о политике в эмиграции. Я вас цитирую: «Тотальная реставрация, православие, самодержавие и народность, реакция...» Это кто?

Б.Х. Как я понимаю, вы хотите спросить меня о том, как я отношусь к правонационалистическому крылу или флангу современной русской эмиграции, знаменем которого, по крайней мере до последнего времени, считался Солженицын. Он и сам, по-видимому, против этого не возражает. Это, конечно, самое знаменитое, блестящее и славное имя, которое украшает эту когорту. Но говорить о Солженицыне несколько затруднительно, потому что этот писатель очень часто противоречит самому себе. И это связано не с какой-то безответственностью, а просто... ну, многие писатели противоречат себе. Можно было бы взять большое интервью, которое он дал Аугштейну — издателю журнала «Шпигель»; оно появилось на немецком языке, и русские читатели, по-видимому, его не знают...

Д.Г. Там, к сожалению, мало говорилось о литературе. Аугштейн сам об этом предупредил.

Б.Х. Да, так вот, если не считать этого интервью, то таких заявлений общественно-политического характера, которые напоминали бы его прежние проповеди, он в последнее время не делал. По-видимому; он сосредоточился целиком на литературной работе и, кроме того, присматривается, надо полагать, к тому, что происходит в Советском Союзе сейчас, накануне возвращения его книг в страну.\* Это, вероятно, накладывает на него какие-то обязательства, заставляет его быть более осмотрительным. О его литературе, о его прозе я уже немного сказал, а что касается его общественно-политических взглядов или его национализма, то, конечно, мне все это глубоко чуждо, это надо признать с самого начала. Но в русском зарубежье есть люди, которые являются больше роялистами, чем сам

\*Интервью взято до публикаций произведений Солженицына в СССР.

король. В Мюнхене издается журнал «Вече», ну, осторожно выражаясь, этот журнал можно назвать консервативно-монархическим, а откровенно говоря, монархо-фашистским. Это пример крайнего правого полюса в русской эмиграции. Парадокс заключается в том, что такой журнал выходит именно в Германии, именно там, где национализм, шовинизм и фашизм были уничтожены огнем и мечом. И вот на освободившееся место приехали эти люди... К счастью для них, баварская полиция не интересуется русской литературой и журналистикой, иначе их бы оштрафовали кое за что. Уровень этого журнала, как и следовало ожидать, очень низок: культурный, языковой, литературный. Ужасный русский язык, как это часто бывает с людьми воинственно-патриотического склада. И, собственно, говорить о нем не хочется. Но это пример в наиболее чистом виде...

Д.Г. Вместе с Кронидом Любарским вы редактируете журнал «Страна и мир». Журнал скорее распространяется, чем продается, и в большой степени распространяется среди читателей в СССР, которые не могут непосредственно откликнуться... Получается, что вы бросаете бутылку в море, и эта бутылка не возвращается. Не так ли?

Б.Х. Верно. Журнал распространяется главным образом в Советском Союзе, где, как мы хотим, надеяться, находится наш «главный» читатель. Это верно, что мы бросаем бутылку в море, но мы все-таки получаем какие-то отклики, и довольно часто. Мы даже знаем, куда именно попадает наш журнал. В частности, наш журнал «Страна и мир» находится в спецхране Ленинской библиотеки, где его весьма усердно читают разные люди, имеющие доступ туда. У нас и раньше был переполнен портфель, а сейчас особенно много приходит материалов из СССР и просто статей, специально написанных для журнала.

Д.Г. Почему теперь, если и в советской прессе много все-таки для Советского Союза радикальных статей, люди вынуждены обращаться к эмигрантам?

Б.Х. Этот вопрос мы задавали себе сами. Дело в том,

что... вся русская печать столкнулась с непривычной для нее проблемой конкуренции в Советском Союзе. Очень часто там говорится так много, так откровенно и, надо сказать, так талантливо и умно, что к этому просто нечего добавить. Рядом с этим разоблачения, на которых специализировалась независимая пресса за рубежом, выглядят какой-то банальностью, если не детским лепетом вообще. Естественно, что и мы не оказались в стороне от этой странной проблемы конкуренции. Тем не менее, как мне кажется, мы пока справляемся с этим. Интерес к нашему журналу, насколько мы вообще в состоянии об этом судить, не падает, а наоборот, растет.

Д.Г. Кто-то сказал — я не буду говорить, кто — что ваш журнал — прогорбачевский.

Б.Х. Я бы так не сказал, хотя в каком-то общем смысле мы очень сочувственно относимся к перестройке.

Д.Г. Но это очень странная позиция. Журнал, который видит свою цель в том, чтобы поддержать советское правительство, находится в изгнании.

Б.Х. Нет, мы никогда такой цели не ставили и не могли ставить. Мы, конечно, не поддерживаем советское правительство в прямом политическом или общественно-политическом смысле этого слова: это было бы странно.

Д.Г. Но вы поддерживаете политику главы этого государства.

Б.Х. Мы сочувствуем тому, что с нашей точки зрения заслуживает сочувствия, поощрения и дальнейшего развития. И вместе с тем каждый, кто читает наш журнал, знает, что мы позволяем себе критиковать Горбачева и его окружение, и очень многие из наших публикаций именно и посвящены разбору противоречий, непоследовательности в позиции Горбачева.

Кроме того, мы не разделяем известного и почтенного тезиса, согласно которому Россия — это одно, а Советский Союз — совсем другое. Тезиса, по которому советская власть, коммунизм, режим и т.д. есть нечто навязан-

ное извне. Нет ничего проще, чем сказать, что страна порабощена большевиками, инородцами или еще кем-нибудь в этом роде. Мне всегда претила и претит такая манера мышления, такой монизм, полное отсечение всего, что противоречит однозначному взгляду. В нашей позиции есть, если хотите, известная беспринципность. Это можно назвать и так. Мне кажется, что наше зрение, зрение людей, живущих в XX веке, должно быть фасеточным. Это, конечно, прежде всего относится к художественному мышлению, мы вынуждены постоянно иметь в виду некую множественность возможных и допустимых версий. Что же касается политики журнала, то о том, что мы не принимаем коммунизм, по-моему, и говорить нечего. Каждый порядочный человек является антикоммунистом. Это общее место и хвастаться этим смешно.

Д.Г. Ну, что ж, давайте вернемся к писателям. Перед тем, как начать интервью, мы говорили об Иосифе Бродском. У вас были некоторые размышления насчет его, как бы сказать, «кружковости».

Б.Х. Это слово звучит достаточно сомнительно. Видите ли, я считаю себя поклонником поэзии Бродского, и это, собственно, старая любовь... Для меня Бродский — я уже говорил об этом — может быть, единственный в современной русской литературе постмодернист в том смысле, какой я сам вкладываю в это понятие, потому что говорить о том, что такое вообще постмодернизм, значило бы залезть в немыслимые дебри: существует столько же определений этого понятия, сколько и людей, которые пытались это сделать. Бродский, мне кажется, первый, а может быть, единственный в русской поэзии большой и крупный поэт, который не является лириком. Именно это обстоятельство, между прочим, вызывает нарекания у многих читателей. Именно поэтому кто-то упрекал его в том, что он не любит людей, что он мизантроп. В нем действительно отсутствует непосредственный эмоциональный отклик на мельчайшие события душевной или внешней жизни, то,

что определяет лицо лирика. Я думаю, что отсюда проистекает его нелюбовь к Блоку, вообще к лирической струе в русской поэзии. Бродский — это другая линия, он наследник акмеистов, той школы, которая отталкивалась от лиризма в широком смысле слова. Поэтическое мышление Бродского вбирает в себя огромное количество сигналов извне. Это очень сложное видение человека, который наблюдает действительность одновременно в самых разных ракурсах, учитывает или старается учитывать ассоциации словесные, культурные, фольклорно-блатные, исторические, всякие и который широко пользуется игрой слов. Отсюда происходит такая сложность и пестрота его языка, чисто постмодернистская особенность, отсюда происходит то, что можно было бы назвать барочностью его языка, огромное количество смысловых завитушек. Отсюда, в конце концов, происходит и его сложный синтаксис, упорядочить, усмирить который может только строфика, к которой он опять же очень склонен. И вот эта сложность восприятия мира есть великое завоевание. Редко кто добивался такого эффекта в стихах. Это обычно считалось достоянием прозы. В вашем с ним интервью есть такое замечательное, походя сделанное им высказывание о том, что проза — второй сорт литературы, по сравнению с поэзией. Это, конечно, несерьезно, и вообще не так. Неизвестно, что вообще считать первым или вторым сортом, но характерно: то, что всегда было привилегией прозы, оказалось у Бродского чуть ли не основным поэтическим качеством. Бродский сумел передать особое чувство современного человека, внутреннюю оцепенелость посреди мелькающего и невероятно сложного мира. В его стихах все время возникает образ этого человека, который, обалдев, сидит посреди вещей, звуков, вспышек, игры света и тени, например, в поэме «Колыбельная Треского Мыса», где описана жаркая ночь и сидящий в темноте человек. Он все воспринимает, он слышит звуки музыки, он видит полосы света, различает огромное множество деталей, вызываю-

щих, в свою очередь, воспоминания еще чего-то, а сам он оцепенел, окоченел посреди всего этого. Такая внутренняя оцепенелость многим кажется признаком внутренней холодности поэта, ледяная душа, так сказать. Это тоже очень характерное состояние современного человека, подавленного колоссальным количеством информации, но благодаря вот этой внутренней неподвижности сохраняющего ядро своей личности. Я, конечно, сужу об этих делах достаточно дилетантски, но это то, чего нельзя найти, вероятно, ни у одного из современных русских поэтов.

Д.Г. Вы раньше похвалили Фридриха Горенштейна. Не могли бы вы рассказать о нем поподробнее?

Б.Х. Горенштейн — писатель-одиночка, писатель, который не принадлежит к поколению питомцев оттепели и который практически в Советском Союзе как писатель не существовал. Он был известен как автор киносценариев фильмов «Солярис» и «Раба любви». В СССР опубликован один его рассказ. Писатель, который, казалось бы, расцвел именно в эмиграции. Но расцвет — это слово не подходит к Горенштейну. Он работает в одиночестве, и, насколько мне известно, ценителей у него мало. Я бы поставил его, может быть, на первое место в русской зарубежной литературе, хотя это писатель, который во всех отношениях противоположен мне и в общем не следует ни одному из правил литературных, которые я принял для себя. Это писатель в высшей степени недисциплинированный, очень многословный, подчас, темный писатель, склонный к такому непросветленному философствованию, причем для меня это, должен сознаться, одна из привлекательных сторон его творчества. Может быть, вы замечали, его герои вообще очень склонны к философствованию, и незаметно, на ваших глазах, это философствование превращается в речь самого автора. И тут возникает очень важный вопрос, который к творчеству Горенштейна имеет прямое отношение, а для меня является важным вообще для литературы — это вопрос об отношении автора к героям. Не все-

гда легко решить, где кончается писатель и начинается автор, где кончается автор и начинается персонаж, где кончается один персонаж и начинается другой персонаж. Для каждой из этих фигур существует время, существует время человека, сидящего за столом, существует время автора, находящегося внутри своего произведения, наконец, есть время персонажей, иное, отличное от времени автора. Начинаешь задумываться над этими проблемами, именно когда читаешь Горенштейна, потому что те писатели, о которых мы говорили выше, таких вопросов не ставят и не вызывают. Для них этих проблем вовсе не существует, для них существует единое ньютоновское время, единообразно читаемая действительность. И еще одно: он писатель, одержимый религиозными и философскими проблемами, но вы замечаете, что для него это скорее материал, чем самоцель.

Д.Г. А что вы можете сказать о Синявском?

Б.Х. Синявский, по-моему, — одно из самых талантливых имен в русской эмиграции. Я говорю о Синявском-беллетристе, об Абраме Терце, я не о Синявском-литературоведе, который тоже очень интересен и талантлив. Синявский — писатель мне, собственно говоря, далекий, и я не могу сказать, что я безусловный поклонник всего его творчества. Тем более, что он очень неровный писатель: у него есть удачи, есть и неудачи. Но писателя надо оценивать всегда по его лучшим достижениям. Синявский — это, по-моему, редкий и для нашего времени, и для русской литературы, вообще, пример эстета, это действительно человек, который ради красного словца не пожалеет родного отца. В нем есть какой-то глубокий — не скажу аморализм, это нехорошо звучит, — а имморализм. В этом смысле он писатель, принадлежащий тому веку, который, по-видимому, и привлекает его наибольшее внимание и является предметом его особой любви. К Синявскому применимо то, о чем когда-то написал Флобер. Я эту цитату привожу по памяти и скорее не цитирую, а пересказываю: если все,

что происходит вокруг вас и с вами, для вас становится ценным лишь постольку, поскольку это материал для литературы, тогда пишете, тогда вы созрели как писатель.

Д.Г. Может быть, теперь немного о Войновиче...

Б.Х. Войнович подкупает необыкновенной гармонией и красотой своего языка и такой особой акварельной прозрачностью. Я уже не говорю о том, что это писатель — и это очень редкое качество в русской эмиграции — наделенный необычайным чувством юмора. Даже воспоминание просто о героях Войновича или об отдельных, рассыпанных в его прозе фразах, поворотах, замечаниях, всегда очень тактично и изящно выполненных, — одно это воспоминание вызывает улыбку. Он, конечно, наиболее гармоничный художник, по крайней мере, среди тех, кого мы назвали. Этому отвечает и гармония его прозы. У него можно учиться языку, красоте фразы, чувству слова. Его лучшим произведением, конечно, остается Чонкин, как мне кажется. Он очень хорош в небольших рассказах. Но это тоже писатель совершенно иного склада, чем я. Войнович — писатель, для которого, по-видимому, интересующая меня проблематика или не существует или не представляет интереса. Это, в основе своей, писатель-реалист, писатель, верующий в действительность.

Д.Г. А вы?

Б.Х. А я верю в действительность, которую создает сам писатель, и плохо верю в действительность, которую писатель якобы художественно осваивает.



*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*

## МОСКВА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...

*Ностальгические заметки.*

В каком году это было? В семьдесят третьем? Может быть, в семьдесят четвертом? Мы сидели в кабинете тогдашнего шефа лондонского отделения радио «Свобода» Лени Финкельштейна и вспоминали Россию. Собственно, предавался воспоминаниям только Финкельштейн, который был одним из первых и самых дерзких журналистов-перебежчиков. И к тому же был он великолепным рассказчиком. Вначале сидели вдвоем, и он вспоминал свой последний вечер в Москве, как шел по улице Горького, кого из знакомых встретил, с кем и о чем говорил, и все излагал в лицах, в колоритнейших деталях, а из соседней студии доносился чей-то хорошо поставленный голос, который с волнением и восторгом говорил о великой британской демократии.

Затем из студии вышел обладатель этого чистого и сильного голоса, печальный и вялый облик которого никак не вязался с его бравурным выступлением у микрофона.

— Вы не знакомы? Это Толя Кузнецов, — сказал Финкельштейн, продолжая рассказывать.

Я разглядывал Кузнецова, чей побег на Запад был подобен разорвавшейся бомбе. Мне хотелось понять, что представлял собой этот человек теперь, в свободном мире, но он сразу ушел в себя, сидел молча и лишь в самом конце заметил: «Как это, Леня, ты все помнишь? А я ничего не помню, раньше сны снились, а теперь и сны не снятся».

Возможно оттого, что это было сказано Анатолием Кузнецовым, или потому, что еще недавно и меня донимали эти тяжелые, липкие сны, фраза эта хорошо запомнилась. Я возвращался во сне на родину много раз: то брали прямо на таможне с какой-то невыносимой антисоветчиной, то высаживали в последнюю минуту из самолета, а однажды увезли из Тель-Авива и спланировали прямо на площадь Дзержинского.

Просыпался я в холодном поту и думал о том, как я бесконечно дорог своей матери-Родине, сионист отщепенец, и к тому же агент английской разведки, кем меня чуть не сделали в «Литературной газете». А потом и это исчезло, все исчезло — сны, воспоминания, лица друзей. Многие в эмиграции, наверно, это пережили, когда прошлое постепенно превращалось в призрак. И думалось тогда: «А были, вообще говоря, мальчик? Может, и мальчика не было?»

И вот теперь, утром 13 сентября 1989 года, я приземлялся в Москве. Я глазел в иллюминатор на Подмосковье и чутко прислушивался к происходящему в душе. Онемевшая душа пребывала в молчании, а было лишь голое любопытство: какой мне откроется моя родина-Россия через семнадцать лет. Где-то внизу, под фюзеляжем, плыли родные с детства дачные места — незабвенное Быково, с его дивными просеками и перелесками, где прошли годы послевоенной юности. Отдых и Кратово, куда мы с другом детства

ва Борькой Бурмистровым гоняли на велосипедах, монастыри Загорска с перезвоном колоколов и незабываемая, в памяти вечно запорошенная снегами Красная Пахра.

Картина, открывшаяся в иллюминаторе была никакой. Все было окутано серой, свинцовой дымкой; редкие, безликие перелески, торчащие среди серых почему-то полей. Беспорядочно разбросанные на земле низенькие строения, и медленно ползущие по узким бетонкам тихоходы-грузовички. И так до самого приземления. Ощущение бесцветности, кажется, было главным в то первое утро в Москве: безликий Шереметьевский аэропорт, голый и пустынный, в зале разъяренные люди, сражавшиеся за свои выбрасываемые из подземелья чемоданы, затем толпы возле таможенного контроля, такси, которое мы никак не могли найти, и наконец старое шоссе, вливающееся в Ленинградский проспект.

В разногласии мнений, доходивших из СССР, не просто было разобраться. Что с прилавков исчезло мясо, что нет мыла и туалетной бумаги, что страну треплет жесточайший кризис... — все это было известно и не представляло бы интереса, если бы не новая, непривычная для России обстановка свободы. Да, я увидел в Москве много свободы, но среди извечной российской отсталости, в обескровленной, нищей стране.

Две недели было ничтожно мало, чтобы понять происходящее. Но что я по приезде решил — как можно меньше полагаться на расхожую, известную по печати информацию, а доверять лишь собственным наблюдениям и оценкам. Пускай субъективным, иногда мимолетным, но взятым не из газет, а из непосредственного общения с жизнью. Это было не так просто, в голове уже были готовые стереотипы, сложившиеся под мощным влиянием перестроечной прессы. Да и встречи с визитерами, которые массажи ездили на Родину, тоже не проходили бесследно, особенно этот их афоризм, звучавший, словно проверенная опытом народная мудрость: «Хотите избавиться от ностальгии — поезжайте в Россию».

Приземлившись в Шереметьево, я еще не знал, с чего начать свой первый день в Москве, наутро все решилось само собой. По своему складу я человек бродячий, но не в туристском смысле, а как бы в смысле урбанистском. Куда ни попадаю — в Тель-Авив, Париж, Мюнхен, — едва устроившись в гостинице, отправляюсь на улицу. Обожаю глядеть на витрины, на вечно спешащих городских обывателей. Радуюсь всяким интересным происшествиям. Пребываю в уверенности, что лишь влившись в толпу празднующихся, только и возможно заметить что-то стоящее. Вот и не было у меня вопроса, куда отправиться, оказавшись в Москве после семнадцати лет отсутствия.

### ПО КОЛЬЦУ «АННУШКИ»

Бывают москвичи и москвичи. Так вот, я не просто москвич. Я родился в самом ее центре, который в годы детства был опоясан бульварным кольцом «Аннушки» — волшебного трамвая-вагончика, чей сказочно-колокольный звон, кажется, до сих пор стоит в ушах. Наша Малая Бахрушенка, где отец поселился после революции, располагалась в Петровском переулке, возле бывшего театра Корша и очень близко от Елисеевского. После войны жил я на Петровском бульваре, почти у самой Трубной, где чуть не погиб в толчее в день смерти Сталина.

От Трубной и начал свой обход центра, правда, не по кольцу «Аннушки», которое давным-давно ушло в небытие, а чуть левее, через Цветной бульвар, по которому вышел на Садовое кольцо, поднялся на Колхозную площадь, свернул на Сретенку и снова спустился на Трубную. Затем по Крапивенскому попал на Петровку и через Петровский переулок и Козицкий поднялся на Горького.

Стоял чудный сентябрьский день, легко дышалось, я шел по знакомым с детства улицам и, замерши от любопытства, глазел по сторонам. Бывает у человека состояние, когда он все готов видеть в розовом свете. В этой эйфории, видно,

был и я. Спустя семнадцать лет ведь я приехал не просто в Россию, а что ни говорите, в другую Россию. И то, что в это утро свободно шел по центру Москвы, было лучшим тому подтверждением.

Мне было интересно все — улицы, вывески, выражения лиц и, больше всего, долетавшие до ушей обрывки разговоров — с ума сойти: весь мир вокруг меня говорил по-русски. Я ловил себя на том, что ищу перемен. И не находил их. По обе стороны Сретенки теснились серые с облупленными стенами дома, которые еще провинциальнее казались из-за старых, пожелтевших от времени вывесок: «БУЛОЧНАЯ», «ОВОЩИ-ФРУКТЫ», «ГАЛАНТЕРЕЯ», «МЕТАЛЛОРЕМОНТ»... И так же выглядела узенькая, покосившаяся Петровка и серый, безликий Козицкий, и даже улица Горького, которую когда-то называли Бродвеем, и та вдруг оказалась не такой большой и, конечно, никаким не Бродвеем.

Глаз быстро привыкал к этому пейзажу, а вместе с ним привыкал и я, как бы растворялся в нем, будто другого никогда и не существовало, не было ни эмиграции, ни Израиля, ни Америки, а только долгий, затянувшийся сон, после которого, открыв глаза, я снова очнулся на этих знакомых застывших улицах. Мне нравилось проигрывать в голове эту метаморфозу, этот обратный ход жизни, может быть, потому, что я мог наблюдать ее со стороны, абсолютно не веря в ее реальность.

Выйдя из Козицкого на Горького, я повернул направо и вошел в Елисеевский, который был частью моего детства. Если мне и вспоминалась Москва, то уж непременно с Елисеевским, с его золотым потолком и с золотыми царскими канделябрами, — на прилавках мощные белужьи бока и рядом *лососина и черная икра* в банках, а напротив селедочка «Иваси» в бочках, которую так обожала мама, и далее, во фруктовом отделе, горы ананасов и рассыпающихся мандарин, затем отдел вин с пирамидами «Советского шампанского» и кондитерский с разноцветными башнями — тортами...

Первое, что я увидел, войдя с Горького в Елисейевский, — это запрудившую весь его огромный зал толпу, из-за которой ничего не было видно. Люди пытались отыскать конец очереди и давили со всех сторон, прокладывая путь локтями.

— За чем стоят? — вслух поинтересовался я. Пожилая женщина (которую я, видно, оторвал от работы) оглядела меня таким взглядом, каким — если попадетесь под руку — только и могут вас огреть в России.

— За марципанами! (С луны свалился?). За вареной колбасой, за чем же еще!

Она стала протискиваться дальше, но уже напрасно.

— Касса! За колбасу не выбивай! Колбаса вся! — выкрикнула откуда-то из эпицентра толпы продавщица. Я снова попытался разглядеть, что это за такая волшебная колбаса.

«Идите!» — услышал я из-за спины — и сдавленного со всех сторон толпа вынесла меня к выходу.

## ШКОЛА

На улице поймал себя на мысли, что в сутолоке даже не успел взглянуть на гигантские золотые канделябры, которыми любовался в детстве и которые, как мне показалось, исчезли вовсе. Возвращаться не было настроения. К тому же вспомнил, что если спуститься вниз по Козицкому и перейти на другую сторону, то в глубине двора должна быть моя школа.

Когда-то она гремела по всей Москве, 170-ая средняя школа Свердловского района, которая в год моего окончания дала Родине 27 медалистов. Ей же дали за это право приветствовать товарища Сталина — от лица всех московских выпускников, в зале Чайковского.

Был среди медалистов сорок седьмого года и я.

Внешне она оказалась подстать всему, что мне посчастливилось видеть в это утро: старенькая, сто лет без ре-

монта, даже без школьного двора, который отхватило какое-то соседнее учреждение.

Дверь в учительскую была распахнута, и я, впрочем, не очень решительно, вошел и без особой надежды стал спрашивать про наших учителей, которых всех помнил по имени-отчеству.

— Может, слышали — Суздаев Василий Васильевич? («Васька», вспоминаю про себя). Был лучшим математиком района («Ну-с, Милорды! Готовы?» — доставал из кармана свой кондуит и объявлял контрольную. И это тоже, конечно, про себя.)

— А Лидию Герасимовну Бронштейн, литераторшу (своими пятерками по сочинениям она-то и «дала» Родине 27 медалистов. «Что-то, Перельман, вы сегодня тему развить не сумели? Стыд, позор!»).

— А историка Сергея Михайловича? («Скажи-ка, когда была битва на Калке?» — «Кажется, в 1223-м» — «Кажется» в истории не бывает, история точнее математики!»)

Моя собеседница, перед которой лежит гора тетрадей, непонимающе смотрит на меня: какие-то доисторические личности, и кто я, собственно, такой, что посреди дня отрываю ее от дел?

— А Панаско Александр Терентьевич, директор школы, был заслуженный учитель, — спрашиваю уже без надежды. О Панаско как раз и слышала, три года назад умер. (Слава тебе, Господи, нашлась хоть эта ниточка).

— А отчего умер?

— От старости, от чего люди умирают?

— Дело, понимаете ли в том, что я кончил эту школу..., 42 года назад... И приехал издалека, знаете откуда... «Откуда?» — жду от нее вопроса. Но вместо вопроса в ее лице просыпается холодная настороженность. Что-то очень знакомое. Когда-то я — отщепенец! — всюду наткнулся на это милое выражение.

— Так что я ваш бывший ученик...

— К нам теперь часто приезжают... бывшие... ученики, —



как-то странно говорит она и придвигает к себе тетради.

— Простите, я еще вас оторву: тут, знаете, висела доска медалистов, — вспоминаю я рассказ однокашника, которого встретил в Нью-Йорке. (По его словам, был на этой доске и я, как получивший серебряную медаль.)

— Она и сейчас есть...

— Кто она?

— Кто? Доска! О чем говорим-то? Рядом с раздевалкой висит. Вон техничку спросите, — кивает она в открытую дверь.

Седая, с гребнем в волосах техничка, дремлющая в раздевалке, подозрительно оглядывает меня: «А вы сами откуда будете?» Я ответил, и тут уж она вовсе не понимает, чего я от нее хочу:

— Какая еще доска?

— Медалистов!

— Да, она ж на втором этаже!

— И сейчас там?

— Была на втором этаже. Сейчас, кажется, сняли. Еще в прошлую весну... Маляры стены красили и сняли...

Позже я ругал себя, что так бездарно провел этот день. Хорошо празднично шататься где-нибудь на Монмартре или на Дизингоф, в Тель-Авиве, когда живет в тебе ощущение залетной птицы. Но если ты приехавший спустя семнадцать лет в Москву редактор эмигрантского журнала, да еще с идеей продвинуть его в Россию, то лучше бы делом заняться сразу. Все последующие дни были расписаны по часам, и как всегда, одного дня нехватало — может быть, как раз этого, когда безо всякой цели бродил по местам детства.

Выйдя из школы, направился на площадь Пушкина, к «Московским новостям», как еще с утра намеревался, но снова застрял в Козицком, возле Большой Бахрушенки.

Когда-то здесь располагался вендиспансер Свердловского района. Учреждение это давно перевели, и занимало меня это место лишь тем, что именно в Большой Бахрушенке, как раз над входом в эту шарагу с вечно горевшим

красным фонарем, завязывается действие моего нового романа. (Когда-нибудь бы его закончить!)

Все начинается из-за совершенного курьеза, случившегося с московским писателем Цезарем Семеновичем Залкиндом, который в полночь завлек сюда семнадцатилетнюю школьницу Купцову. Ее идиотский, на всю лестницу, крик «Цезарь, что вы наделали!» и положил начало фантастической истории, которая привела его в высший орган партии, затащила в свою орбиту ведущие газеты Запада, и, имея продолжение в Америке, вылилась в своего рода эмигрантскую эпопею. И вот я стоял возле бывшего вендиспансера и, запрокинув голову, высматривал лестничную площадку, где все началось. Утром, когда шел первый раз, я ее уже рассматривал, но чего-то не доглядел, и сейчас, пока доглядывал, за спиной разыгралась другая драма — на сей раз у палатки с вывеской «Прием стеклотары от населения». Я и не заметил, как выросла здесь очередь, и началось вечное на Руси качание прав — почему бутылки из-под водки принимают, а из-под импортных вин — не берут...

«Нет, ты мне, давай, блядь, покажи закон, у нас теперь, знаешь, гласность, а то привыкли при Сталине химичить!» — блокировала очередь живописная, мускулистая личность в голубой майке и в мятой, неизвестно каких времен шляпе.

«Да вы, мужчина, в сторону отойдите, людям же некогда...»

На крик подошел милиционер с болтавшейся на поясе дубинкой, после чего порядку стало еще меньше, и мускулистый снова стал взывать к гласности и еще сильнее материться. На это молоденький мильтончик легко тюкнул его дубинкой по шляпе и, превратив ее в блин, весело рассмеялся.

### СЮРРЕАЛИЗМ У ЗДАНИЯ «МОСКОВСКИХ НОВОСТЕЙ».

Первым про мой приезд проведал самый вездесущий из моих знакомых юности, которого под именем Миша Блох я вывел в «Театре абсурда». Именно с его письма — о том, как сидит он в Доме журналиста и обсуждает мою сногсшибательную карьеру на Пятой Авеню, я и начал книгу.

Моему приезду он был несказанно рад и, пока я бродил по центру, успел рассказать жене по телефону, что Дом-жур седьмой год закрыт на ремонт и он приглашает нас поужинать в Дом архитектора, где он свой человек, так как редактирует одну из строительных многотиражек.

Я еще расскажу об этой встрече, которая состоялась ни в каком ни в Доме архитектора, а на скамейке, ночью, в одном из сквериков у площади Восстания. Почему так получилось, опять же ниже, а пока о том, что я увидел возле «Московских новостей».

Попал я туда на другой день, после обеда, и потому ничего интересного ждать не приходилось. Но в России не бывает, что бы так уж ничего. Если торгуют, да еще книжками, да еще запрещенными, то уж будьте уверены — что-нибудь, да углядите. И так, кто-то, совершенно не таясь, торговал по трешке «Новым русским словом», кто-то — не помню уж почем — старыми номерами «Посева». Книг не продавали, если не считать интеллигентного вида человека в ратиновом пальто, который держал в руках «Архипелаг Гулаг» издательства «Имки-Пресс» или, может быть, «Посева».

Все и разыгралось как раз из-за этого «Архипелага». Картинка была абсолютно сюрреалистической, при виде которой здравому человеку только и остается пожать плечами или даже плюнуть и убраться вон.

— Что за Солженицына просите? — услышал я над ухом.

— Тридцать пять, — спокойно ответил голос интеллигента в ратиновом пальто.

— Вы что, тридцать пять? Когда в «Новом мире» уже напечатали! — увидел я быстрого плотного человека в джин-

совой куртке и в очках — понять, кто он, был невозможно, мог быть из книжных жучков, а мог кто угодно. — Говорю вам, в «Новом мире» вышел! — наступал он на интеллигента.

— Откуда вы знаете? Это еще бабушка надвое сказала — вышел или не вышел?

— Да вы что, уважаемый? Почитайте августовский номер... И главное, тридцать рублей, за что? — уже терял терпение крепыш в джинсах.

— Послушайте, — приблизился к нему интеллигент, — неужели вы им верите?

— Да вы в своем уме, — отринул тот, — я вам говорю, напечатали «Архипелаг» в «Новом мире», а он мне муть какую-то.

— А вы лично видели, как печатали?, — не дрогнул ни один мускул в лице интеллигента.

— Во, товарищи, мудила! Правильно на Западе говорят, что с русским человеком кашу не сварить! — Но никакой поддержки у окружающих он почему-то не нашел. Те явно сочувствовали интеллигенту. «За сколько человек хочет, за столько и продает! Хоть стихи товарища Мао — за сотню. Тут свободный рынок, а не Госполитиздат. Да он, может, гебешник, чего привязался к человеку? Сгинь лучше, друг, пока не поздно!»

Снова показался милиционер, самое занятное — что это был все тот же юный мильтончик, который вначале дежурил у «Приема стеклотары» и теперь появился здесь (был, верно, здесь участковым).

— Ну, граждане, может, хватит балдеть — гебешники, не гебешники, что-то больно у меня разговорились.

Сзади меня кто-то тронул за рукав, я обернулся: передо мной стоял седой сутуловатый человек с очень знакомым лицом. Откуда же я его знаю? Господи, Леша Флеровский, в молодости вместе работали в «Московском комсомольце». Потом он стал его редактором. Любопытно, где он сейчас? — В «Московских новостях», ответственный секре-

тарь, — сдержанно сообщает Флеровский. — Между прочим, мы получили твое Открытое письмо к Егору Яковлеву.

— И почему же не напечатали?

— А мы, вообще, печатаем не все, — вдруг проснулось в его глазах что-то живое, чего он сам как будто застенялся и решительно протянул руку. — Ты извини, спешу, всех благ!

Вот такая странная сцена, то ли была, то ли не было вовсе.

### **ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.**

Два вопроса постоянно задавали мне московские знакомые: во-первых, какой я нашел Москву после семнадцати лет? И во-вторых, (об этом считал своим долгом спросить каждый) побывал ли я уже в «Литературной газете»? «Ну что, навестил, наконец, родные пенаты?» — изводил меня с первого дня институтский приятель.

Было время, когда я сам себе рисовал этот живописный момент, как, приехав в Москву, отправляюсь в свою любимую «Литературку» и как, поднявшись на второй этаж, первым делом захожу поприветствовать своего старого друга Александра Борисовича Чаковского (который на вопросы корреспондентов о его бывшем зав. информацией Викторе Перельмане обычно восклицал: «Первый раз слышу это имя!»). Но теперь, оттого ли, что Чаковского спровадили на пенсию, или просто потому, что в душе все перегорело, — этот поход казался лишенным смысла. Человек не может жить прошлым, тем более не мог им жить я. Вырвавшись из рабства, кем я уезжал из России 17 лет назад? Никем, вольной птичкой, ничем не обремененной и жаждущей лишь свободы. А приехал издателем какого-никакого, а толстого журнала, и уже по одному этому не мог я не ощущать груза принятой миссии.

Я вез с собой в Москву длинный список (что-то из тридцати публикаций) — лучшее, что появилось во «Время и мы»

за пятнадцать лет, и намеревался предложить это редакторам толстых журналов. Был в этом списке так и не увидевший света плутовской роман Галича «Блошиный рынок», было «Персональное дело коммуниста Юфы» Виктора Некрасова и его путевые заметки по Японии и Австралии, была тут вся публицистика Артура Кестлера, была стенограмма процесса Кравченко, были воспоминания бывшего секретаря Троцкого Марии Иоффе и бывшего генсека израильской компартии Микуниса о его жизни в Кремле, эссе Бориса Орлова «Миф о Фанни Каплан» и мемуары бывшего цензора МГБ Авзегера «Я вскрывал ваши письма». Были тут Борис Суварин, Юлий Марголин, Мартин Бубер...

Я вез, наконец, один из последних, оставшихся в редакции экземпляров «Тайной истории сталинских преступлений» Александра Орлова, книгу-документ, которая предавала огласке секретные материалы процессов 37 года, замурованные и по сей день в подвалах Лубянки (ниже станет ясно, почему я так подробно останавливаюсь на этой книге). Ее автор, генерал НКВД Орлов, бежавший в 1938 году в Америку, был единственным в мире человеком, которого боялся Сталин. Уже оказавшись в Америке, Орлов послал через советское посольство в Париже ему письмо (письмо было подброшено к двери), где предупреждал, что если Сталин посмеет расправиться с его матерью, оставшейся в СССР, то он, Орлов, немедленно предаст огласке сталинские злодеяния на Московских процессах. Насколько известно, Сталин не осмелился тронуть мать Орлова

Жизнь этого легендарного человека была сама по себе захватывающим детективом, о котором здесь нет времени говорить. Что же до его книги, то, напечатанная в 1953 году в журнале «Лайф» и переведенная на многие языки, она в течение 36 лет оставалась неизвестной советскому читателю. В 1983 году издательство «Время и мы» ее выпустило на русском языке, и теперь вместе со списком лучших журнальных публикаций я привез ее в Москву. Все это было, в сущности, даром нашего издательства, на который я

охотно шел. Гонорар в рублях, если бы он и был выплачен, ничего не стоил рядом с надеждой, что все это вернется к миллионам читателей в СССР.

По дороге я уже даже прикидывал, что именно и в какой журнал будет мной отдано. На первом месте стояли «Знамя» и Григорий Бакланов — и как один из самых прогрессивных редакторов и борцов против сталинизма, и как талантливый писатель еще времен войны, которого я помнил с юношеских лет. И, наверно, еще одно: Григорий Бакланов был единственный еврей среди редакторов московских толстых журналов...

Как легко строить наполеоновские планы, когда эдак сладко покачиваешься в салоне трансатлантического боинга компании «Пан-Америкэн»! Все преодолимо, все легко и воздушно, недаром Сент-Экзюпери так часто любовался нашей планетой с борта самолета.

Читатель, верно, уж готов к рассказу о том, как полетели вверх тормашками мои наполеоновские планы? А я не хочу спешить. Чем больше гляжу на происходящее в мире, тем отчетливее вижу, что история не торопится со своим последним словом. Я уверен, что когда-нибудь, а может быть, даже скоро, журнал «Время и мы» вернется в Россию, но не стоило удивляться, что я хотел ускорить этот момент.

Вы, наверное поняли, что Бакланов был первым, с кем я увиделся. Забегая вперед, скажу, что о журнале «Время и мы» у нас не было разговора. И вообще говорил он один — о самой важной нашей книге, «Тайной истории сталинских преступлений», точнее о ее авторе Александре Орлове. Что именно говорил? — это и было самым интересным.

Итак, мы сидели втроем в его кабинете, в редакции «Знамени», на улице 25 Октября. Мы — это сам Григорий Яковлевич Бакланов, высокий, в отлично сидящем на нем импортном костюме, вышедший из-за редакторского стола, чтобы поприветствовать гостей, Феликс Медведев, наш новый представитель в Москве, и я, незнакомая пока редактору залетная птица из Нью-Йорка.

По снимкам я представлял его другим, может быть, ниже ростом, более раскованным и домашним — в общем, обычная игра фантазии.

Уж не помню, как началось, кажется, я извлек из кармана список публикаций, которые намеревался предложить, но он опередил меня, поскольку Медведев спросил, прочитал ли он Орлова, которого тот ему оставил. Да, он прочитал Орлова, и книга ему решительно не понравилась. Почему? Неубедительна. Сам автор по существу ничего не знает, он просто передает чужие рассказы и сплетни, он свидетель по слухам, при этом часто врет.

Признаться, ничего подобного об этой книге (на которую опирались все — от Конквиста до Роя Медведева) я не слышал и, возражая, привел первое, что пришло на ум, — что Орлов был доверенным лицом Политбюро в Испании, что по личному заданию Сталина он возглавлял похищение испанских золотых запасов, что был он чрезвычайно близок Молчанову, тогдашнему начальнику секретного политического управления НКВД, что он принадлежал к таким высоким кругам сталинской мафии, что американские органы безопасности пришли в состояние шока, узнав о его пребывании в Америке. Но теперь Бакланов не слушал меня. Зациклившись на своих обвинениях Орлова, он в раздражении даже повысил голос.

Во всем этом была какая-то идиотская насмешка судьбы — точнее насмешка советской реальности: один из самых рьяных борцов против Сталина изничтожил одного из самых важных антисталинских свидетелей и отказывался предоставить ему слово в своем журнале. Я и по сей день не знаю, что именно вывело Бакланова из равновесия. То ли сама книга Орлова, необыкновенная по силе разоблачения (как бы чего не вышло, если уйдет Горбачев) или, настоящее имя Орлова — Лев Фельдбин. (Сколько я знал таких примеров, когда еврей-редактор первым обнажал шпату против еврея-автора.) А может быть, настораживал его я со всей своей «сионистской» биографией и опять же небез-

опасной фамилией. («Надо еще, товарищи, посмотреть, как эта книга попала к Бакланову!»). Впрочем, Бог ему судья. Хорошо быть храбрым, сидя в американском штате Нью-Джерси, а ведь он-то живет там и скоро ему на пенсию, и слишком опасно раскачивается корабль перестройки, чтобы вот так запросто мог я его поучать из своего американского далека.

Закончилась наша встреча вполне дружелюбно, почти в духе братания двух редакторов и двух литератур. Чувствуя, неловкость от того, что погорячился, Бакланов взял карандаш, присел напротив меня, теперь уже совершенно по-домашнему, и переписал на чистом листе бумаги все названия отобранных для него вещей.

— Завтра уезжаю в отпуск, — сказал он, — и после возвращения прочту. (Так и читает он до сих пор!)

Когда прощались, он дружески протянул мне руку и крепко пожал руку Медведеву: «Большое спасибо, Феликс Николаевич, за то, что о нас не забываете». Неисповедимы пути редакторов в эпоху перестройки!

Следующим был Виталий Алексеевич Коротич.

## ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Шел я в «Огонек» с той же целью, что и в «Знамя», — предложить несколько вещей из журнала. И опять же на его пути встала книга Орлова. Был в этом какой-то рок: моя книга всякий раз перебегала дорогу моему же журналу. Кому из моих двух детей я мог отдать предпочтение?

В «Огоньке» Орловым заинтересовались задолго до моего приезда. Наверное, из-за скандала вокруг книги Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы». Последнего обвиняли в плагиате при использовании «Тайной истории сталинских преступлений», и скандал не мог не принести известности Орлову. Книгу прочел Коротич, стал вопрос о ее публикации. Теперь, когда я появился в «Огоньке», выяснилось, что Коротичу не нравится предисловие, и вот его

первый зам. Лев Гуцин ведет меня по длинному коридору в кабинет к редактору...

Коридоры «Огонька» — это особая тема, когда-то, в софоновские времена, простым смертным сюда было трудно пробиться, а нынче кого здесь не встретишь, да и я попал в «Огонек» не по паспорту, а по своему американскому драйверлайсенсу (О времена! О нравы! — по водительским правам в издательство ЦК КПСС!)

Мне подал руку среднего роста полнеющий, в ярком импортном пиджаке, человек, который выглядел абсолютно русским или, может быть, украинцем, но никак не евреем, кем его время от времени объявляют бескомпромиссные бойцы из «Нашего современника».

— Понимаете, — сразу же перешел он к делу, — мы живем в определенную эпоху, может быть, великую эпоху, а люди, которые прочтут ваше предисловие вряд ли это почувствуют. — Затем он стал говорить, какая масса здесь работы, просто невпроворот, и о том, как он крутится с Гуциным день и ночь, как белка в колесе. И наконец о том, ради чего я пришел. «Мне Лев говорил, что вы предлагаете нам ряд интересных материалов». Он вопросительно оглядел меня, словно ожидая подтверждений. «Да, у нас есть для вас исключительные материалы — «Миф о Фанни Каплан» Бориса Орлова, мемуары бывшего цензора МГБ, воспоминания бывшего генсека израильской компартии Микуниса о его жизни в Кремле.

— Прекрасно, — говорит Коротич, — но тут, знаете, есть загвоздка: для всех этих вещей необходима верификация.

Мне показалось, что я ослышался — в Америке верификации требуют банки, адвокатские конторы, во избежание обмана и подделок документов. При чем же тут самый популярный перестроечный журнал? — У нас сегодня пишет кто угодно, весь народ мемуары пишет, — продолжал Коротич, — и, если не контролировать, тут, знаете, такую вам правду напишут, — он испытующе взглянул на меня, будто

именно от меня и исходила опасность, что «Огоньку» будет подложена какая-то невероятная утка. А мне от этой ворвавшейся в разговор темы верификации вдруг стало весело, я представил себе чудную картинку: если западные издания на каждом шагу начнут требовать от своих авторов свидетелей, подписей, справок... Вот описал Микунис в своих мемуарах, как он устроил Мопотову скандал в Кунцевской больнице (почему тот позволил арестовать Жемчужину), а я, прочтя, говорю: «А теперь, будьте добры, верификацию: свидетеля или справку, подтверждающую ваш скандал с Молотовым.»

Секретарь Троцкого Мария Иоффе рассказала в своих мемуарах, как Троцкий перед высылкой сунул ей за пазуху свое политическое завещание, — а я снова говорю: «Все хорошо, Мария Михайловна, но надо бы подтвердить, свидетели-то у вас найдутся?» И как бы славно работали — по испытанной формуле Ильича: «Доверяй, но проверяй!»

Впрочем, жизнь есть жизнь. И одно дело — нравы людей на Западе, совсем другое — в СССР. На Западе Бог наблюдает с неба за людьми, а кто следит за советским человеком, чтобы говорил и писал только правду? Да и кому тут предъявить претензии, если во все времена в советском обществе так мало значила правда истории, правда факта. Ложь была нормой жизни общества и нормой жизни печати. И если уж кому-то предъявлять эти претензии, то никак не редактору «Огонька», который имеет здоровое желание избавить свое издание от лжи и пердержек.

В конце нашего разговора Коротич вновь вернулся к моему предисловию — надо бы его переделать и связать с жизнью. После чего ему кто-то позвонил, и наш разговор так ничем и не кончился.

Прошло что-то около двух месяцев, и «Огонек» в своем ноябрьском номере за 1989 год приступил к публикации глав из Орлова. И предисловие (поскольку я отказался его переделывать) напечатали без изменений. Нашел, правда,

я его не сразу, а в самом низу, очень мелким шрифтом, а над ним мощным разворотом на две страницы шло предисловие другого автора — им был Анатолий Рыбаков, который вначале от всей души обобрал Орлова, а теперь как крупный писатель и специалист по Большому террору благословил его публикацию в Советском Союзе. И все же «Огонек» сделал великое дело, открыв миллионам советских читателей этот уникальный источник информации о преступлениях Сталина.

Однако вернусь еще к одной встрече, которая была совсем не похожа на эти две. В силу ее несерьезности ее можно было вообще опустить, но ведь я назвал свои заметки ностальгическими — а ностальгия бывает не только по стране, где провел лучшие годы, а по молодости, в которую не существует обратной дороги. Если можно в нее вернуться, то лишь так, как я, — безо всякой цели, от нечего делать, решивши, как говорят американцы, просто сделать брейк и встретиться с одним из легкомысленных персонажей тех далеких лет.

## МИША БЛОХ

Так вот, я о том же Мише Блохе, который, страшно обрадовавшись моему приезду, сходу пригласил нас женой в Дом архитектора. Мы идем на встречу к нему по бульварам, вначале по Пушкинскому, затем по Суворовскому, где уже седьмой год стоял на ремонте Дом журналиста. Оба бульвара утопают в зелени, на скамейках парочки, пенсионеры, вышедшие подышать сентябрьским вечером, и просто прохожие. Московские бульвары — моя слабость. Почему я так мало проводил на них время в той прошлой жизни? Многие уничтожили в Москве Сталин и его последователи, а вот про бульвары как-то забыли. Так и цветут они по сей день, в противостоянии серому городу и напоминая вождям и людям о неуничтожимости живой жизни.

Я уж говорил, что на бульваре, точнее в скверике, возле высотного здания на площади Восстания, мы провели этот

вечер — с самым несерьезным персонажем из моей молодости. Почему же не в Доме архитектора, где был он свой человек? А сами не догадываетесь почему. Был закрытый вечер, на котором принимали итальянцев, и своих членов, разумеется, не пускали.

— Это у них называется демократия! — шумно возмущался он.

— А почему бы не посидеть на скамеечке. Соскучился я...

— А что, в Нью-Йорке нет скамеечек? — взмывает он свои мефистофельские брови и спрашивает тоном, коим в молодости (когда ходил в половых разбойниках) обращался к своим юным жертвам в перовских электричках: «Простите, а вы случайно не заочница?» Все остальное для него было делом времени.

Годы не брали его, даже сегодня, в свои 58 лет, сохранял он в себе что-то легкомысленно-абсурдное, особенно, когда начинал свою пантомиму, выбрасывая вперед свои большие растопыренные пальцы...

Странно, что он был первым из знакомых, с кем я увиделся. Сидел в скверике с этим стареющим мимом и балаболкой и выслушивал его байки про нашу молодость.

Было время, когда все провалились в небытие. Он один — из всех — вспомнил меня, отщепенца, и, пробившись сквозь железный занавес, подкинул начало для моего «Театра абсурда»: «Ах, как мало значат в жизни цель и преднамеренность — все определяет случай!» Его письмо и было случаем, подсказавшим начало книги. И вот он, длинный и сутулый, жестикулирует передо мной в темноте и, желая сразить меня, ерничает на тему павших за 17 лет бойцов:

— Гильмана помнишь из «Службы быта»? Откинул копыта! Два инфаркта.

— А Левона Оловяникова? Откинул копыта! С перепоя, был инструктором ВЦСПС по вопросам комвоспитания.

— Яша Гиндин? Из «Советских профсоюзов»? Откинул копыта, рак! А вот «Болт» из «За руля» живет. («Болт» —

это наш бывший шеф, Иван Никитич Болотин, паталогический, с дребезжащим голосом зануда, под началом которого тысячу лет назад мы служили в автомобильной многотиражке.)

Я чувствую — раз «Болт», то уж, конечно, воспоследует воспоминание о моей стычке с ним, когда он довел меня до белого каления, и как я ответил ему, и главное, как он ответил мне (про эту историю долго гудели в московских многотиражках).

— Алла, вы когда-нибудь слышали про обмен любезностями между вашим мужем и Иваном Никитичем? — готовится он к коронному номеру и, в точности как Иван Никитич, втягивает голову в плечи. «Виктор Борисович, — дребезжит он на весь скверик, — почему вы это не сделали? Виктор Борисович, почему вы то не сделали? Виктор Борисович, а кто будет вместо вас в типографии, Виктор Борисович, попрошу своими секретарскими обязанностями не манкировать». Миша зловеще нахохливается, словно готовится к прыжку. Еще слово, и произойдет страшное. «Виктор Борисович, попрошу вас не отмалчиваться и объясниться».

— ...Ну и говно же вы, Иван Никитич! — взрывается он моим голосом на весь сквер, и в ответ мерзкий, дребезжащий голос шефа: «Но и у вас, Виктор Борисович, тоже есть недостатки».

— Потряска, а? — хохочет он.

— А как в Нью-Йорке со спидом? Тут какой-то кошмар! — фонтанирует дальше. — Бедному еврею стало невозможно жить! Конечно, свобода! Свобода, бля, свобода! А вы слышали, что Горби чуть не скинули: военный заговор во главе с Чебриковым. А думаете почему Чебрикова сняли? А про «Память» слышали? Переписали всех московских евреев. К весне ждем небольшой погромчик.

Мы прощаемся, я тщетно пытаюсь остановить такси, он помогает мне. «Двойной счетчик! «Двойной счетчик!» — кричит во весь голос, такси мчатся мимо, пока не останавливается маленький запорожец с зеленым огоньком и со

странным молчащим водителем. Мы обнимаемся. Когда теперь увидимся? И увидимся ли вообще?

— Ладно, друзья мои, всего, — галантно открывает он жене дверцу. И все еще не может никак успокоиться, — это же надо какая встреча, это же самый счастливый день в моей жизни!

### **ВСЕРОССИЙСКОЕ ТОЛКОВИЩЕ**

Мы поселились на улице Новаторов, и по утрам я ловил на Ленинском проспекте такси, добираясь за тридцать-сорок минут до центра. Ездить в разбитых московских такси — удовольствие не из приятных: из-за плохих рессор и изношенных шин ужасно трясет. К тому же воняет бензином, таксисты за ним выстаивают по ночам и канистрами запасают в багажниках. Но каждый, кто знает эту публику, может догадаться, что эти тридцать-сорок минут у меня не пропадали даром. О чем они со мной говорили? Будто на этот вопрос можно так просто ответить: о чем изливает душу московский таксист? А потому, извинившись за длинноты, приступлю-ка к делу, и предоставлю слово самому колоритному, который безо всякого подхода, включился в тему... Я спросил, знает ли он, как проехать к «Ударнику», он ответил, что знает прекрасно и не только это. «Вы не смотрите, что я таксист, я это такси ненавижу, я человек от земли, деревенский, из-под города Рязани, — разворачивал он биографию. — Было нас у отца пятеро сыновей, работали, дом был загляденье, если отец слово скажет — значит, закон. А как уважали женщин? В общем скажу, жили красивой жизнью. Красота же для человека главное. А теперь что? Разве это жизнь? Да вы взгляните на Замоскворечье — одна грязь, да щебенка. Какая тут перестройка? Что тут перестраивать? Честное слово — дали бы автомат, все бы вот этими руками спалил. Чистое место оставить, а потом пригласить лучших русских архитекторов и новую Россию построить, чтобы все было наше, русское».

У него было молодое круглое лицо, с нежными, как у де-

вушки, чертами, и когда он говорил, то все время краснел и поворачивал ко мне голову: согласен я или нет? На минуту мне показалось, что рядом сидит герой Василия Белова или Распутина — только в облагороженном чуть виде.

— Чего молчите, не верно что ли говорю? Все верно! Только на Россию теперь всем начхать — вот в чем трагедия!

Я полез за бумажником, и он, спустившись с неба на землю, вдруг сказал: «Не забудьте, господин хороший, что двойной счетчик обещали!» Таким был этот первый.

К другому «просветителю» я подсел на площади Маяковского, когда вышел из редакции журнала «Юность». На заднем сидении лежал «Огонек», а я держал последний номер «Время и мы».

— Что это, интересно, за издание? — спросил он, увидев журнал.

— Да так, иностранное, — решил я не гнать картину.

— Вижу, что иностранное, у нас разве так издадут?

— Почему, в СССР тоже есть неплохие издания.

— Ну конечно, газета «Правда», например, или журнал «Коммунист»! Читали сегодняшнюю «Правду» — как с Ельциным обмишурились? И не стыдно народу в глаза смотреть. Это же вам не какой-нибудь «Ногинский рабочий», а «Правда» — высший орган Коммунистической партии. Честь и совесть нашей эпохи. Да я бы на их месте от стыда умер, а им что? Им ссы в глаза, а они — божья роса! Рубли в юани китайские превратили, стены можно обклеивать... Один рубль — шесть центов!

Дорога наша была недолгой, и когда у Моссовета я достал деньги и хотел расплатиться, он вдруг стеснительно заулыбался и сказал:

— Не надо денег, продайте лучше журнальчик, сколько скажете, столько заплачу. — Это был мой последний в Москве журнал, и я покачал головой. — Сколько там на счетчике: три доллара? — сорвалось с губ по привычке. — Три доллара? — поползли у него брови, — да я за три доллара вас бы сюда на руках принес! — пересчитал он день-



ги и, вконец расстроенный, включил газ.

А третий даже не был таксистом, а был из славного отряда частников, судя по всему, пенсионер, и на мой вопрос, довезет ли он до театра Маяковского, прищурился левый глаз, спросил: «А сколько это будет стоить?»

Когда мы с женой сели, он вдруг завел рассказ о том, какая у него маленькая пенсия. «А то бы, други мои, стал бы я тут со всякой швалью колымить? Я, между прочим, три университета кончил и все политические, за кордоном служил, восемь правительственных наград... Хозяина много раз видел, эх, нет на них хозяина!

— А что о перестройке скажете? — подлил я масла в огонь.

— А что перестройка? — были б карбованцы, вот и вся перестройка.

— На жизнь как-нибудь повлияла?

— А что вы все спрашиваете? Сами-то откуда? — подозрительно оглядел он меня с ног до головы...

— Откуда? — повторяю я вопрос. — С Дальнего Востока!

— А-а-а! — оно и видно, — до самого театра Маяковского он больше не разговаривал.

Про любого из них я смог бы написать отдельное сочинение: три «Саги о двойном счетчике». Но было мне важно вот что: каждый из них был «человеком с улицы», представителем молчаливого большинства, которое нынче разговаривалось.

«Вот болтают, а чего болтают! — слышал я на каждом шагу, — лучше бы работали как люди». (Ах, сильны русские люди на самокритику!) С первого дня возникла ведь эта ситуация, когда во имя свободы не работать бросились, а говорить, что-то по тысячам поводов отстаивать и отспаривать, за что-то горланить, за что-то выступать — кто за новую и чистую Россию (как тот, с лицом девушки, что рвался пройтись по Москве с автоматом), кто, проклиная партию, за Ельцина, (как — второй «огоньковец» и книголюб), а кто, как третий, славный смершевец, выступал за Хозяина, за великого Сталина.

Я разговаривал лишь с несколькими, но в этом проснувшимся всенародном улье сегодня — все, вся Русь, получившая свободу слова: «демократы» в их бесчисленных ипостасях, «русофилы», сомкнувшиеся под славным знаменем «Памяти», «плюралисты», «федералисты», «анархосиндикалисты», «монархисты», «лигачевцы», (я видел на Пушкинской молодца, который нес даже портрет Брежнева в маршальской форме), и просто домашние хозяйки, и просто пенсионеры, и миллионы славных советских работяг, но, если отбросить это всероссийское толковище, то все они как один, весь многомиллионный советский народ, от Москвы до самых до окраин, увлечены одной немеркнувшей идеей, как и где что-нибудь достать. Не из корысти, а чтоб пропитать себя, чтоб просто-напросто выжить.

У меня нет данных социологических опросов о жизненном уровне населения, какими располагают, скажем, «Огонек» или «Аргументы и факты». Мои заметки — лишь карточки из жизни, записки зеваки, который, приехав в Москву, оказался во власти смешанных ощущений. С одной стороны, чувствуя себя человеком, навсегда ушедшим из этой жизни, а с другой стороны? Про другую так просто — и не скажешь. но если без лицемерия, в двух словах: мне не было безразлично происходящее вокруг.

Жил я, между прочим, эти две недели, как барин, в отдельной квартире, жена моего тестя Манечка (умевшая достать из-под земли все) не знала, куда нас с женой посадить. Но стоило мне закрутиться и, не пообедав, очутиться на какой-нибудь дикой Пятницкой или в Марьиной Роще или где-нибудь у метро «Рижская», как меня охватывал ужас: на подступах к приличной забегаловке можно было отдать концы... Мне лень описывать очереди, которые я видел на каждом шагу. Да и что я за авторитет? Что я мог увидеть за две недели? Вот призвать бы моего доброго гения Манечку, которая каждое божие утро отправлялась в магазины, как на службу. За сметаной и картошкой, за яйцами, за куриными отбивными, за помидорами, за стиральным по-

рошком. Будто только за этим! Очереди в Москве везде — очередь за колбасой, очередь за мылом и женскими колготками, очередь за детскими ванночками, очередь за школьными тетрадками, очередь за презервативами, очередь за пишущими машинками, очередь за бензином, очередь за справкой в ЖЭК и очередь за справкой к кадровику.

И тут же льющаяся через край гласность: гудящие на всю страну демократические союзы, и народные фронты, и общество «Мемориал», и альтернативные демонстрации в праздник октября, и сотысячные толпы в Лужниках, и призывы к отмене монополии партии, и призывы к правовому государству, и все это рядом с нищетой, бездомностью, рэккетом, новоявленными нэпманами, валютными проститутками... этакая гремучая смесь перестройки, от которой ползет запах гари по всей Руси великой.

### **ГОРБАЧЕВ ИЛИ... КАШПИРОВСКИЙ**

И совсем было бы тошно, если бы не новые кумиры — спутники перестройки в совершенно иной области, которой недавно в СССР как бы и не существовало...

Однажды оказался я в пестрой московской компании, галдели, смеялись, пили водку, и вдруг, включив телевизор, хозяйка воскликнула:

— А теперь ша, господи! Выступает человек, которому я обязана жизнью!

— Не Горбачев ли? — кто-то не преминул сострить.

— Прямо — Горбачев, нужен он мне больно.

И вот на экране, при почтительном молчании публики, появился... самый знаменитый ныне в СССР человек, целитель и парапсихолог Кашпировский. Про Кашпировского в Москве говорят, что он не только все лечит, но даже обезболивает на расстоянии операции, и единственный, кто способен с ним состязаться — это журналист Чумаков. Есть, правда, еще волшебница Джуна, пытавшаяся исцелить од-

ряхлевшего Брежнева, но эта явно уступает Чумаку, про которого известно, что он обладает даже даром «наэлектризовывать» вещи и через них воздействовать на людей. В связи с этим московский приятель рассказал мне замечательную историю, в которую оказалась замешанной газета «Вечерняя Москва». Повидимому, задумав поднять подписание, она объявила читателям, что следующий номер будет начинен целительными магнетическими волнами Чумака.

В погоне за целебным номером началось столпотворение, которое на некоторых станциях «Метро», говорят, привело даже к жертвам. Но затем вышла заминка: счастливицы, которым так тяжело досталась газета, не знали что же с ней делать.

В редакции разрывали телефон: «Что делать с номером Чумака? Разорвать на части и проглотить? Обернуть им голову? Приложить на ночь к груди?» Последнего не ведал даже Чумаков, и вопрос так и повис в воздухе. Я не знаю целительных способностей Чумака и Кашпировского, и, возможно, эта история преувеличена, но уж очень характерна она для эпохи.

Известно, в какие времена завладевают умами кликушеские чудодеев и знахари. Предреволюционная российская смута дает этому немало примеров. И к чему привела эта смута, хорошо известно. Историю иногда полезно вспомнить. Что же до нынешних времен, то московские сталинисты снова заговорили о великом кормчеме. «Де Сталина у народа отняли, Ильича отняли, вот и получайте взамен Чумака и Кашпировского!»

У меня же в связи гением всех времен другая фантазия родилась: «А ну как он из гроба встанет (да тот же Кашпировский оживит) — и вздумает, как и я в свой первый день, прогуляться по Москве, да хоть по тому же кольцу «Аннушки» — проведать, как живут-поживают благодарные потомки, еще может в Кремль заглянет, где ночами о народе бдел — много бы я отдал, чтоб полюбоваться на

реакцию великого кормчего.

А теперь снова вернусь в Нью-Йорк, откуда начиналась моя поездка. И последняя новелла, может, самая прозаическая, но для понимания картины без нее никак не обойтись.

### **...И СНОВА О НОСТАЛЬГИИ.**

Да, началась она с совершенно житейского вопроса: что брать с собой в Москву? И главное, брать ли с собой книги? Вначале, как мне показалось, я принял железное решение: никакой литературы не брать. Во избежание драматических шмонов и таможенных злоключений, которые меня преследуют всю жизнь. Но соблазн был слишком велик, и по мере приближения дня отъезда я был все менее категоричен. Кончилось тем, что я набил в чемоданы что-то около шестидесяти журналов. «Чего опасаться — если я сам слышал по Би-би-си текст нового закона: отныне пропускалось все, кроме порнографии и призывов к насильственному свержению власти».

Вы, конечно, догадываетесь что произошло дальше: чемоданы мои, конечно, раскроют, книги все отберут. Да еще вспомните мне в укор эмигрантскую притчу: «За что Каин убил Авеля? За его вечные байки о таможене».

Но не будем спешить: может быть, начало вы и угадали, а как развернется далее, представляете вряд ли. Да и пишу я не о советских ведомствах, к коим причисляются тамошни, а о людях пишу, о их нравах. Людях всяких. О человеке с улицы говорил выше. А теперь о человеке официальном, на котором держится государство и чья первая задача исполнять закон. Рассказать о нем хочу объективно, не осуждая, не спеша с выводами — а как живописец на пленере, рисуя с живой природы.

Итак, первой инстанцией в таможенном зале оказалась миленькая девушка в пограничной форме, к которой я и решил обратиться. Я сказал ей, кто я, что везу книги, и она кокетливо переспросила:

— Книги? И что же это, интересно, за книги? Книги, знаете, бывают разные...

Мое признание внесло явное оживление в работу тамошни. Откуда ни возьмись вырос еще один разговорчивый и быстрый в движениях блондин-пограничник:

— Пожалуйста, вот на стойку все сложите, мы и посмотрим. — И с неподдельным интересом стал рассматривать сотый номер «Время и мы». — Даже и не знал, что такой журнал существует! Какой же у него тираж? А вы, значит, редактор? Чудненько, а у меня, знаете, есть предложение: давайте все эти книжки перепишем и дадим кое-кому почитать.

Не увидев в моих глазах восторга, он позвонил начальству, появился высокий и чем-то похожий на стареющего гусара мужчина, после чего сюжет решительно двинулся вперед.

— «Время и мы»? Кто же его не знает? Чистая антисоветчина!

Это был Виктор Алексеевич Ужва. чья должность называлась начальник отдела контроля за материалами и пленками звукозаписи и который, пригласив меня в кабинет, мгновенно отпарировал все мои протесты.

— Новый закон? Разрешается провозить литературу? Да кто вам сказал? — обворожительно улыбался он. — Небось, в газете вычитали? Журналисты, они чего хотите напишут! Мы задерживаем все, что подрывает советский общественный и государственный строй.

— А вот «Театр абсурда», — пытался я зайти с фланга, — там нет даже упоминания советской власти, один только Израиль.

— Ну это, знаете, как подойти. Вот на днях один пассажир пытался провести Историю евреев. Казалось бы, какая опасность, а заглянули в конец книги и увидели, что права евреев на Ближнем Востоке защищаются, а на арабские народы, как говорится, плевать.

Чтобы не затягивать, скажу, что после моей жалобы в

Главное таможенное управление, куда послали журналы, мне было разрешено их забрать. Но чем дальше, тем любопытнее становилась эта история — хоть и прозаическая, но все больше примешивалось к ней сюрреализма, совсем, как у здания «Московских новостей».

Когда я приехал за журналами в таможенное управление, на Комсомольскую, у меня было одно желание — чтобы быстрее возвратили. Вынес мне их симпатичный молодой человек с университетским значком и неожиданно сам стал их укладывать в сумку. Затем, переминаясь с ноги на ногу, вдруг назвал меня по имени-отчеству: «Виктор Борисович, можно я скажу вам одну вещь. Конечно, это не мое дело, но я прямо скажу: хороший, серьезный журнал делаете. Другой раз такое наворотят, что читать противно, а тут просто удовольствие получил, большое спасибо!» И крепко пожал мне руку.

Ветер переменился, и мне нетерпелось заглянуть в глаза Ужве, который должен был отдать несколько застрявших у него номеров. И он их отдал, но тут уж начался чистый сюрреализм:

— Да, да, мне звонили из главка, и как редактору я это вам возвращаю, но наперед знайте: отбирали, отбираем и будем отбирать! У нас свои задачи — так и скажите вашим пассажирам...

И, надо сказать, свое слово он сдержал. Уже после моего возвращения в Нью-Йорк таможня провела с моим знакомым еще более жесткую экзекуцию, чем со мной. Вместе с журналами «Время и мы» у него задержали много другой литературы, среди которой были даже «антисоветчики» Набоков и Бердяев. И, кажется, даже Цветаева.

— Все знаем, — сказали в таможенном главке, — и разбираемся. Но и вы должны понять, что там есть один очень вредный журнал — номер 104.

— Да что ж в нем вредного?

— Как что? Антисемитская статья Шафаревича!

— Так ведь она уже напечатана в «Нашем Современнике»!

— Да ну? Вот те на! Видно ребята тут перестарались.

Неправда ли занятная история, которую в силу ее абсурдности, я даже не в состоянии комментировать. Всякие из нее выводятся мысли — о самодурной психологии советского чиновника, о его бескультурье, об отсутствии профессионализма. Но вытекает из рассказанного и еще вопрос — может быть, самый болезненный и драматический для сегодняшней России — чего в этой стране стоит закон? Он так мало стоит, что, нарушая его, люди даже не замечают этого. Давно стало нормой жизни его обходить, игнорировать, как угодно истолковывать. Чиновник, принимая решение, руководствуется чем угодно — но только не буквой закона, которую он просто презирает. И в связи с перестройкой презирает еще более... И действует по главному своему компасу — по своему «партийному чутью».

Понес я журнал «Время и мы» в Комитет по печати, где встретился с одним из ответственных работников — не разрешат ли допечатывать для СССР часть тиража? Был он горячим сторонником перестройки, человеком с виду ярким и критически мыслящим. (К тому же и очень современно сдобривающим свою речь русским матком). Сказал, что идея ему в принципе нравится, кое с кем посоветуется и возьмет сам почитать журнал на дачу.

Разговор происходил в пятницу, а в понедельник, когда встретились (был тут опять наш представитель Медведев и один кооператор), деловито объяснил: «Ну что вам сказать, ребята? Где журнал-то издается? Нью-Йорк — Париж — Иерусалим? Смущает меня, едрена мать, ваш левый фланг. Откровенно говорю, смущает...»

Было бы понятно, если бы он захотел посоветоваться с юристом: все же журнал иностранный — законна ли сама просьба? Но ему и в голову не пришло вспомнить про закон. При чем тут закон, когда все ясно и так.

Поехали мы с женой в новую кооперативную галерею «Марс», купили картину, а вывезти не можем: нет штампа представительницы министерства культуры. Из-за это-

го министерского штампа в субботу специально ехали в Фили, и не одни мы — десятки покупателей. А представительница министерства не явилась. И отныне вообще решила не являться. Почему? А не почему! «Не нравится им, что мы кооператив», — объяснил председатель художественного Совета Константин Худяков. — «Но позвольте, ведь есть же закон», — заметил я. — «Закон? Это вы хорошо сказали», — рассмеялся он, даже не найдя, что бы тут можно сказать еще.

В тот день мы еще раз убедились в силе закона: вечером, когда не солоно хлебавши пытались уехать домой. Мимо мчались свободные такси и не думали останавливаться. Наконец, один, сжалившись, притормозил: «Метро — улица Новаторов! Двойной счетчик!» — уже набравшийся опыта, крикнул я в кабинку таксисту.

— Не, ребята, устал! — лениво протянул он и захлопнул перед носом дверцу.

Закон в России извечно был дышлом, которым при всех правителях вертели как хотели, — и при Романовых, и при Сталине, и в брежневские времена, а с приходом эры гласности он, кажется, и вовсе стал ни к чему.

Раздумывая, как бы напечатать в Москве часть тиража, я интересовался где приобрести бумагу. Бумага в стране — самый большой дефицит, но стоило завести разговор со знакомым кооператором, как последовал ответ: «Бумаги, конечно, нет, но достать можно!» И так же ответил другой — на этот раз снабженец с кожевенной, кажется, фабрики: «Бумага — не наш профиль, но ход тут у нас есть!» Я спросил знакомую, как достать билет в «Современник» на «Крутой маршрут». «Невозможно! — последовал ответ, — но для вас постараюсь».

В принципе достать в Москве можно все — от красной икры до авиабилетов в Америку. На это, чтобы доставать и обходить закон уходят, лучшие силы нации. И не напрасно — люди достают все: по блату, за взятки, да бог весть, как. Достают вареную колбасу, достают мыло

и женские колготки, достают детские ванночки, достают пишущие машинки, достают бензин, достают презервативы, достают справки из ЖЭКов и справки из отделов кадров... Да мне кажется, там жизнь потускнеет, солнце над страной зайдет, если все пойдет по закону, и нечего будет советским людям доставать. И в то же время все говорят о правовом государстве, о законопослушном обществе, чтобы было все, как в Америке, как на просвещенном Западе. Вот и разберитесь, чего хочет и куда идет это общество.

Есть счастливые люди, которые всегда и при всех обстоятельствах знают, что нужно делать. Я к таким не принадлежу и потому покидал Москву со сложными чувствами. Может быть, потому, что не знал, да и сейчас не знаю, что будет со страной. Я видел, как худо живут в ней люди, но уезжал, так и не избавившись от ностальгии — и по той России, о которой пишу эти заметки, и еще более по той, что, возможно, появится в будущем.

Юрий БОРЕВ

## ВРАГ НАРОДА

*Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим.*

*(Р. Бредбери)*

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Около полувека я собирал притчи, легенды, апокрифы о Сталине. В одних случаях эти устные рассказы приходили ко мне от людей, встречавшихся со Сталиным или участвовавших в событиях, связанных с ним. В других случаях такие истории отрывались от героя-рассказчика и попадали ко мне в обработанном коллективным сознанием виде.

Судьба этих преданий была в чем-то более счастлива, чем судьба печатного слова тех лет. В них ничто не лакировалось ни «внутренним редактором» автора, ни редактором издательским, ничто не отсекалось. Образ Сталина, возникавший из исторических анекдотов, противостоял той сусальной фигуре вождя, полководца и отца народов, которую наши литература, театр, кино, изобразительное искусство рисовали два десятилетия до 53 года и два десятилетия после 65-го.

Сегодня о Сталине написано много.

Человек салона может себе позволить капризно сказать: «Опять о погоде. Надоело!» Крестьянин так не скажет никогда: от погоды зависит и пахота, и жатва. Обитатель бюрократического кабинета сейчас стонет, открывая свежий журнал или газету: «Опять о Сталине! На-

Отрывки из одноименной книги.

Рукопись пришла по каналам самиздата.

доело!» Человек культуры и демократического сознания так не скажет никогда, ведь от раскрытия этой темы зависит вся наша жизнь.

Многое о Сталине сказано в публицистике. Еще больше сказано в литературе. Есть философский образ Сталина в романе В. Гроссмана, психологический — в романе А. Рыбакова, политический образ Сталина — строителя Абсолютной Системы — в романе А. Бека. В этих произведениях фигура Сталина предстает в серьезной трактовке, но в ограниченных творческим заданием автора социальных связях. Тот образ, который создал народ, является истинно шекспировским по своей социальной и эстетической многогранности. Это Сталин философически и политически осмысленный, психологически мотивированный — и смешной, и страшный, и масштабный, и ничтожный, и умный, и безумный, и широкий, и деспотичный, и остроумный, и тупой. При всех этих и десятках других качеств образ Сталина обладает эстетической и социальной доминантой, главной краской, главным качеством — низменный и ужасный палач, тиран, деспот. То, что в самые тяжкие и жестокие годы где-то в глубине народной жизни, в народной памяти складывался и хранился неортодоксальный образ Сталина, было формой народного сопротивления сталинизму. И хотя это было сопротивление в слове, но слово есть тоже дело. За слово. Отклоняющееся от ортодоксии, Сталин карал людей. Как человек, переживший эпоху, о которой идет повествование, я не считал себя вправе отчуждать материал от своей личности. Летописец всегда регистратор народного сознания и его «сотворец». «Как он слышит, так и пишет», под его пером слух становится литературным текстом, обладающим историческим смыслом. Летописное начало сказывается и в том, что для публикуемых исторических анекдотов важен не только сам Сталин, но особенно Сталин, развернутый в отношениях с людьми. Так что это повествование в известном смысле не о Сталине, а о тех людях, которые его создавали, и о тех, которых он создал, и о тех, кто ему покорился, и о тех, кто был им сломлен, и о тех, кто с ним боролся, и о тех, кто был им убит, и о тех, кто раскрыл его историческую несостоятельность, но не победил его в себе, и наконец о тех, кто его исторически преодолел.

Десятилетия я собирал эти притчи и зарывал их в «ямку». Пусть теперь выросший тростник шумит на ветрах эпохи и рассказывает правду о сталинщине. Для Паскаля человек — мыслящий тростник. Как хрупко это растение и как упрямо живуче. Никаким террором не удалось лишить его свободомыслия. Эти предания — еще одно тому доказательство.

*Из предисловий к книге.*

### ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Фельетонист газеты «Правда» Г. Рыклин рассказывал. В начале 30-х годов состоялась встреча советских жур-

налистов со Сталиным и другими руководителями партии и правительства. Я был на этой встрече. В конце ее мы коллективно сфотографировались. На фото я стоял рядом с вождем.

Шли годы и шли аресты. Хранить фото врагов народа было небезопасно. И я начал резать. Брал в руки ножницы и отхватывал сначала по одному опальному члену ЦК и двух-трех журналистов. Потом репрессии стали более массовыми, и я отрезал на снимке больше людей. Вожди и журналисты постепенно исчезали с фото. В конце концов остались только Сталин и я. После XX съезда я отрезал Сталина и остался один.

### **СТАЛИН И ПРЖЕВАЛЬСКИЙ**

Существует легенда, что Сталин сын Пржевальского. Во-первых, Пржевальский и Сталин внешне были очень похожи, во-вторых, два года перед рождением Сталина Пржевальский провел в Гори, в-третьих, у Пржевальского где-то был незаконнорожденный сын, которому он помогал материально.

Разумеется, никакой исторической ценности эта легенда не имеет и интересна лишь как свидетельство туманного происхождения Сталина.

Впрочем, не все считают ее неправдоподобной. Анатолий Дмитриевич Голубов провел замечательное исследование и выяснил: в 1878-1879 годах Пржевальский жил в Гори. Он вел дневник и имел обыкновение ежедневно записывать туда все свои поступки и события жизни. Из архива Пржевальского в годы правления Сталина было изъято все, что касалось его пребывания в Гори. Но в расходной книге недостаточно внимательный «изытатель» архива оставил несколько небезынтересных страниц, где среди прочих расходов указывались суммы, которые в 1880-81 годах высылались матери Сталина в Гори. Позже высылка денег прекратилась.

В 40-х годах кинорежиссеру Э. было настоятельно предложено создать фильм о Пржевальском, для этого он отправился по следам путешествий Пржевальского в Китай. Там, встретившись с Чжоу Энь-лаем, попросил у него помощи в организации массовых сцен. Чжоу Энь-лай ответил:

— Пржевальский был врагом китайского народа. Никакой помощи в съемках фильма об этом недостойном человеке мы не окажем.

В растерянности Э. сообщил об этом в советское посольство в Пекине. Через некоторое время Сталин позвонил Мао Цзедуну, и тот, пригласив к себе режиссера, сказал:

— Вы собираетесь снимать фильм о великом друге китайского народа — Пржевальском. Все, что нужно вам для работы, мы обеспечим. Если нужно, выделим миллион человек для массовых сцен. Работайте.

### **ЛЕГЕНДЫ ОБ ОТЦЕ И БРАТЬЯХ**

Согласно одной из легенд, отцом Сталина был не сапожник Виссарион Иванович Джугашвили, а князь Эгнаташвили, у которого мать Сталина служила экономкой. От позора Джугашвили вскоре покинул свою семью: любовный треугольник для восточного сознания был абсолютно непременным. Зачатый в грехе, Сталин рос в обстановке полного презрения к себе. Отсюда, возможно, истоки сталинского комплекса неполноценности, переросшего в жажду власти и подавления.

Рассказывают, когда у Сталина, приехавшего в начале 30-х годов в Тбилиси, спросили, как поживает его мать, он ответил: «Меня совершенно не интересует, как живет эта старая ...». Напротив, два брата Эгнаташвили неизменно пользовались его благосклонностью, и он даже сделал их членами Верховного Совета Грузинской ССР.

После XX съезда во Франции объявился эмигрант, назвавший себя одним из сыновей князя Эгнаташвили и братом Сталина. Раньше, по словам этого человека, он не признавался в этом родстве из страха за свою жизнь.

## КАК БУДУЩИЙ ВОЖДЬ ПРИШЕЛ В ОХРАНКУ

Виссариона Ивановича Джугашвили обычно спаивали вином, когда его жена Екатерина Георгиевна уходила к князю Эгнаташвили. Однажды, протрезвев раньше времени, Виссарион Иванович сильно избил вернувшуюся домой жену. После чего за ним пришли какие-то люди, и он навсегда исчез. Рассказывают, что, придя к власти, Сталин вырезал многих жителей Гори, опасаясь, что в их памяти сохранились сведения о его рождении.

Князь был религиозным человеком, и маленького Сосо в 1888 году отдали в духовное училище, а затем в Тифлисскую духовную семинарию, которая была довольно сильным учебным заведением. Говорят, здесь учился тбилисский армянин Гурджиев — создатель одного из суфийских учений, очень популярных в мусульманских странах на Среднем и Ближнем Востоке. Принимали в семинарию после собеседования. Непрошедших его отправляли домой с выпиской: «К учению туп». Плохо подготовленному Сосо удалось избежать этой формулировки благодаря заступничеству князя.

Из-за сомнительного происхождения Сталин вынужден был терпеть бесконечные унижения, которые, по-видимому, и толкнули будущего вождя на первый «революционный» поступок. Он перебил в семинарии окна, за что и был в 1899 году из нее исключен. Оказавшись на воле, он за участие в грабеже вскоре попал в тюрьму. Сблизился там с жандармерией, стал наводчиком. В тюрьме познакомился и с политическими и опять же стал работать против них. Шесть его знаменитых побегов из ссылки были совершены не без помощи органов охраны.

Возможно, все это неправда, но именно так бытующая легенда рисует образ вождя.

## «ТЫ ЖИВА ЕЩЕ, МОЯ СТАРУШКА?»

Старый член партии, бывший одно время председателем СНК Аджарии, Сулейман Диасамидзе рассказывал.

«Как-то в 30-х годах я в составе группы руководящих грузинских работников приехал в Москву. Зашли мы к Серго Орджоникидзе, и находившийся среди нас Филипп Махарадзе попросил Серго устроить встречу со Сталиным. Орджоникидзе соединился со Сталиным по вертушке: «Со-со, в Москве группа наших старых товарищей, они хотят встретиться с тобой, ты мог бы их принять?» — «А кто здесь?» — Серго назвал. — «Где они?» — «Сидят у меня» — «Что же, — сказал Сталин, — я сам к вам приду, подождите меня». Действительно, через некоторое время появился Сталин. Был он оживлен и весел. Приветливо поздоровался с каждым за руку, запросто называя всех по имени. Острил, рассказывал анекдоты. Затем, обращаясь к Махарадзе, спросил: «Филипп, а как там поживает Кэ-кэ?» (Так называли мать Сталина Екатерину Георгиевну Джугашвили, урожденную Геладзе.) Махарадзе замялся: он не встречался с матерью Сталина и просто не знал, как она живет. И вдруг Сталин сказал: «Ну что же ты молчишь, стесняешься правду сказать? Наверное, она, по-прежнему, все развратничает?» Махарадзе промолчал. Через некоторое время Сталин выехал в Грузию и встретился там с матерью. Печать много писала об этом, а в партийных организациях началась кампания «За хорошее отношение коммунистов к своим родителям».

## ЭКСПРОПРИАТОР

Как известно, до революции РСДРП практиковала ЭКСы — экспроприации и конфискации денег для партийной кассы. Об одной из таких операций повествует следующая легенда. Раз в три месяца по маршруту Новороссийск — Гудауты — Сочи на военной яхте везли деньги для военных



и государственных чиновников Закавказья. В Сочи деньги перегружали в карету и в сопровождении казачьей сотни переправляли в Тбилиси. Этот путь был хорошо изучен экспроприаторами. Однажды во время стоянки в Гудаутах к яхте подплыли восемь абреков. Они перебили команду, перегрузили около полутонны золота и серебра на баркас, а затем на арбе, ожидавшей их в Гудаутах, увезли награбленное в горы. По дороге четыре грабителя по приказу старшего застрелили четырех остальных. Вскоре из четырех осталось двое. Двое других были убиты во сне, и наконец, когда утром эта пара стала умываться, один из них выстрелил другому в затылок. Оглядевшись по сторонам, стрелявший увидел, что все это происходило на глазах маленького пастушка, оказавшегося каким-то образом с козой в этом глухом месте. Стрелявший долго досадливо смотрел на мальчика. Он был слишком далеко, чтобы его прикончить. Человек махнул рукой и погнал лошадей с награбленным в горы. Партия, согласно легенде, так никогда и не увидела этих денег.

Несколько десятилетий спустя Сталин был в гостях на даче у своего любимца — грузинского актера Хоравы. Прогуливаясь по саду, он вдруг остановился и подозрительно оглядел садовника:

— Где я тебя видел?

— Нигде, банго... — растерянно ответил тот.

Сталин пошел дальше, потом вернулся и снова спросил:

— Где я тебя видел?!

— Нигде, банго, — последовал тот же ответ.

Сталин расспросил Хораву, откуда у него этот садовник. Хорава рассказал, что он из дальних, глухих мест Грузии. После Гудаутской операции прошло слишком много времени — Сталин так и не узнал в садовнике бывшего пастушонка. Садовник же сразу узнал в Сталине абрека, который перестрелял товарищей, но благоразумно промолчал.

Существует версия о том, что Сталин в 1906 году привлечен к партийной ответственности за то, что не сдал пар-

тии деньги, конфискованные во время одного из эксовских налетов.

## ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Старый большевик Лев Новицкий рассказывал.

«В 1920 году Аршак Семенович Александров, организовавший в 1902 году вместе со Сталиным знаменитую забастовку в Батуми, пригласил меня на партийную Северо-Кавказскую конференцию. Мы приехали во Владикавказ, и первым, кого мы встретили, был Сталин. Он подошел к Александрову, дружески хлопнул его по плечу и сказал:

— Здоров, Аршак! Как поживаешь?

На конференции выступал Молотов. Оратор он был неважный, к тому же заикался, и я вскоре ушел. А вечером, встретив Аршака, заметил в нем большую перемену: он приуныл, нахмурился. Я спросил:

— Что с тобой, Аршак?

— Ты видел, как меня встретил Сталин? — ответил он.

— Видел, очень даже дружески.

— Да, дружески? А потом подошел ко мне и говорит: «Аршак, а почему мы тебя не расстреляли?».

## ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Старый член партии Полина Семеновна Виноградская в 1980 году в Доме ветеранов кино рассказывала.

В Царицыне Надежда Аллилуева была секретарем Сталина. Она была светлая, солнечная девушка, любившая делать добро. Никто и никогда не мог понять ее выбора. История же брака была следующей.

В 1918 году Сталин был направлен в Царицын с широкими полномочиями по заготовке продовольствия для Петрограда, Москвы и других городов. Он ехал в особом поезде, в котором были и другие партийцы, в частности, старый большевик Аллилуев и его дочь Надежда — машинистка

Совнаркома. Ночью Аллилуев проснулся от криков и шума, доносившегося из купе дочери. Аллилуев стал рваться туда, но отворили не сразу. Когда же он вломился в купе, то увидел картину, после которой выхватил пистолет и хотел застрелить Сталина. Тот, по рассказу Виноградской, упал на колени и стал просить о пощаде, уверяя, что хочет жениться на его дочери. Плача, Надежда отвечала, что не желает выходить за Сталина замуж. Однако выяснилось, что она беременна, и в начале 1919 года, когда Сталину было 40 лет, Надежда Аллилуева стала его женой. Вскоре у них родился сын Василий.

Тайна этой женитьбы тщательно сохранялась. В этом одна из причин гибели Аллилуевой и ареста большинства ее родственников. Не был посажен только Аллилуев-отец, который зарыл в саду бумагу с описанием происшедшего. Дочь Анастасия (та, что писала воспоминания), выйдя после смерти Сталина из лагеря, по секрету рассказала всю эту историю адвокату, занимавшемуся делом о посмертной реабилитации ее мужа.

### **СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЦЕНАТОВ**

В 1926 году в кооперативном писательском доме, близ улицы Герцена, собрались на вечер многие литераторы старшего и младшего поколений. В ту пору некоторые писатели были в контакте с Троцким, который старался играть роль мецената. Видимо, из чувства соперничества, понимая значение писателей в культурной жизни России. Сталин тоже стал делать попытки сблизиться с литераторами. Поэтому и пришел на эти посиделки в писательский дом. Там и состоялся у него разговор с Всеволодом Ивановым и Фадеевым.

Сталин спросил у Всеволода Иванова:

- Что у вас выходит в ближайшее время?
- Выходит новая книга.
- Хотите, я напишу к ней предисловие?

— Зачем? Если книга плохая, ее не спасет никакое предисловие, а если хорошая, то она не нуждается в рекомендациях.

— А вы такого же мнения? — обратился он к Фадееву.

— Нет. Предисловие очень важная вещь. К моей книге предложил написать предисловие Троцкий, но мы с ним люди разных жизненных восприятий, и я отказался. А вот если бы вы, товарищ Сталин, написали, — я был бы рад.

Сталин не написал предисловия к фадеевской книге, но не забыл его согласия на это, как и не забыл отказа Всеволода Иванова. Впрочем, он не арестовал его, а стал приглашать на приемы. Сажал напротив себя и угощал. Сам пил из рюмки вино, а гостю наливал в бокал водку. Писатель послушно и молча пил, понимая, что его ждет, если он не выдержит этого экзамена на покорность.

### **ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА ВОЖДЯ**

На одном из совещаний по среднеазиатским делам маленькая Мамлакрат — школьница-хлопкороб 30-х годов — подошла к Сталину с приветствием. Он, улыбаясь, взял ее на руки. Сталина и девочку сейчас же усыпали цветами и фотографы сделали десятки снимков. Один из них обошел все страну, сопровождаемый надписью: «Сталин — лучший друг советских детей». У этой истории есть изнанка. Держа девочку на руках и не убирая улыбку с уст, Сталин сказал Берии по-грузински: «Мамашоре эдль алиани!» Мамлакрат с благоговением запомнила слова вождя, сказанные на незнакомом ей языке, и хранила их в памяти многие годы, а когда подросла, узнала их значение: «Убери эту паршивку!»

### **БЛЮСТИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**

Старый коммунист Петр Чагин, в прошлом один из видных работников Ленинградской партийной организации и близкий Кирову человек, рассказывал о разговоре, кото-

рый состоялся в 1926 году на обеде у Кирова вскоре после избрания его секретарем Ленинградского губкома. Кроме Кирова, Чагина и некоторых других ленинградских большевиков присутствовали Сталин и Томский. Застольная беседа, как часто бывало в те времена, свелась к теме: как трудно приходится без Ленина. Все соглашались с тем, что партией следует руководить коллективно. Сталин не участвовал в разговоре, но потом встал и, пройдясь вокруг стола, сказал: «Не забывайте, что мы живем в России — стране царей. Русский народ любит, когда во главе стоит какой-то определенный человек. Подумав, Сталин добавил: — Конечно, этот человек должен выполнять волю коллектива».

### **БОЛЬШОЙ ШУТНИК**

Анастас Иванович Микоян после XX съезда в землячестве армян рассказывал:

— Спрашиваете, какой был Сталин? Умный, интересный, волевой человек, преданный партии. Шутить любил. Однажды сидим мы с Аллилуевой во время вечеринки, о детях разговариваем, а Сталин заметил и говорит: «Товарищи члены Политбюро, смотрите, Микоян за моей женой ухаживает. Если я его убью, он сам в этом будет виноват». Мне стало неловко, и в следующий раз я, разумеется, стараюсь сесть от Аллилуевой подальше, а она, как ни в чем не бывало, подходит, что-то спрашивает. «Видите — говорит Сталин, — Микоян снова за моей женой ухаживает». И с таким говорит гневом, что мне уже вообще не по себе. Говорю однажды Аллилуевой: «Давайте вместе не садиться, не будем раздражать товарища Сталина». Она смеется и соглашается. Садимся в следующий раз на разных концах стола, не разговариваем. Сталин говорит: «Видите, Аллилуева и Микоян в разных концах сели, не разговаривают — маскируются.» Большой был шутник — товарищ Сталин.

### **ПРОВАЛИЛСЯ!**

Исаак Бабель напоминал мудрого и доброго сома: толстая, плохо поворачивающаяся шея, большие веки... Он очень хотел встретиться со Сталиным и попросил об этом Горького. И однажды тот позвал писателя к себе, в дом у Никитских ворот. Бабель оказался за столом с Горьким, Сталиным и Ягодой. Пили чай. По собственному признанию Бабеля, он страшно хотел понравиться Сталину.

— Вы же знаете, я хороший рассказчик, а тут я еще очень старался. Вспомнил встречу с Шаляпиным в Италии. Шаляпин после выступления вытирал с огромного, прекрасного и уже постаревшего лица грим. Я у него спросил: «Не хотите ли вернуться в Россию?» А он мне ответил: «Большевики отняли у меня дом и автомобиль. Что мне делать в России?»

Сталин слушал молча, а тут начал громко размешивать сахар в стакане. Ложечка так и зазвенела о стекло. Наконец он сказал:

— Мы, большевики, строим дома, наш автозавод начал выпускать автомобили. А Шаляпин все равно гордость и голос народа.

Я понял, что не прошел и старался еще больше. Рассказал о моей поездке в Сибирь, на Енисей. Очень красочно расписал сибирскую ширь реки — Европе и не снились такие просторы и такая несказанная красота...

Слышу, ложечка опять недовольно заходила по стакану и Сталин сказал:

— В Сибири реки не в ту сторону текут.

Смущенно покашливая, Горький встал из-за стола и вышел в другую комнату, а Ягода уставился на меня сорочьими глазами и долго не мигая смотрел. Я понял, что провалился окончательно.

## ЛУЧШИЙ ДРУГ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА

Станиславский был педантичным и импульсивным человеком. Однажды во время репетиции ему понадобилась веревка, а в реквизите театра ее не оказалось. Станиславский вспылал:

— Невозможно работать в такой неорганизованной обстановке...

В приливе чувств он бросился к телефону:

— Товарищ Сталин, нет никакой возможности вести работу: нужна веревка — в театре нет веревки.

Сталин терпеливо выслушал его и спросил:

— Сколько вам нужно веревки?

— Метра три, — ответил растерявшийся от конкретности вопроса Станиславский.

— Хорошо, товарищ Станиславский, работайте спокойно.

Через два часа к театру подъехал грузовик с трехтонной бухтой веревки.

## ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО»

После ареста Косарева Сталин вызвал Михайлова и предложил ему стать первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Михайлов высказал сомнение: он уже вырос из комсомольского возраста. Разговор Сталина и Михайлова происходил с глаза на глаз. Вдруг Сталин громко позвал Берия. Раздвинулась стена, и Берия появился.

— Лаврентий, есть такое мнение — назначить тебя секретарем ЦК ВЛКСМ.

— Слушаюсь, товарищ Сталин. Когда нужно принимать дела?

Сталин повернулся к Михайлову:

— Учись, сопляк, как надо отвечать!

## ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА

В 36 году командующего одного из округов Тимошенко — без всяких объяснений срочно вызвали в Москву. Прибыть было приказано одному без оружия и адъютанта. Похоже было на вызов для ареста. В Москве Тимошенко встретил начальник штаба и повез в особняк Буденного.

Там он застал довольно странную картину.

За пышным столом сидели Сталин и высшие командиры Красной Армии, а перед ними на ковре, обливаясь потом, в одной рубашке стоял Тухачевский. На протяжении нескольких часов он боролся и положил на лопатки всех командующих и маршалов. Эти победы привели Сталина в негодование. Тогда-то и призвали Тимошенко. Сталин сказал ему, что сын трудящегося должен победить помещичьего сына. Ситуация осложнялась тем, что Тухачевский был начальником Тимошенко.

С большим трудом Тимошенко удалось победить смертельно уставшего Тухачевского. Сталин радовался, а Тимошенко едва скрывал огорчение от того, что его начальник ударился головой о пол и лежит оглушенный. Сталин рассмеялся и успокоил: «Ничего, голова ему теперь не скоро понадобится». Вскоре Тухачевский был расстрелян, а наркомом обороны назначили Тимошенко.

## ЖИЗНЕЛЮБ

В конце 20-х и в начале 30-х годов художник Кацман писал портреты Сталина и Ворошилова, за что был обласкан их вниманием, стал их доверенным человеком. Его приглашали на загородную дачу, где устраивались оргии. Было там нечто вроде римских терм, где нагие вакханки приносили яства и возлежали рядом с вельможами. Впрочем, были и отличия от Рима, выдающие северную топографию действия и вкус ее главного организатора: над помещением «термы» висел большой моржовый фаллос. Видимо, людоед был

большим жизнелюбом. Кацман глухо рассказал об этом Федорову-Давыдову. Тот, в свою очередь, еще более глухо упомянул об этом какому-то знакомому. Последний сообщил куда надо. Федорова-Давыдова на время выслали в Ярославль, а Кацмана отлучили от доверия.

Поже Кацман рассказывал: «Ворошилов обругал меня: мы тебе доверяли, мы тебя приблизили, а ты оказался болтун и дерьмо. Ты пренебрег доверием! Скажи спасибо, что я тебя спас от гнева Сталина. Но смотри, если будешь еще болтать...»

### **ХЛЕБ, КОЛХОЗ И ПАСТЕРНАК**

В середине 30-х годов Сталин спросил у Фадеева, что делает поэт Пастернак.

— Пишет стихи, — простодушно ответил Фадеев.

— Это хорошо, — сказал Сталин, помолчал и добавил:

— Почему бы поэту Пастернаку не написать поэму о колхозе? Нужно воспеть нашего труженика, добывающего хлеб.

— Хорошо, товарищ Сталин. Я поговорю с Пастернаком, и он воспевает нашего труженика.

— Создайте условия. Пошлите Пастернака в творческую командировку в колхоз. Пусть там поэт изучит жизнь.

— Хорошо, товарищ Сталин. Пастернаку будет очень полезно изучить жизнь, особенно в колхозе.

Фадеев тут же сообщил Пастернаку пожелание товарища Сталина. Пастернак был смущен и вежливо согласился. Однако в командировку не поехал и писать ничего не стал.

Вскоре Сталин, памятный на задания, вновь спросил, что делает поэт Пастернак. Фадеев снова ответил: пишет стихи. Сталин заинтересовался стихами о колхозе.

— Пока не написал.

— Это жаль, — огорчился Сталин, — такая хорошая и важная тема.

— Да, — согласился Фадеев. — Я ему напомню.

— Напомните и дайте ему командировку в колхоз, чтобы изучил жизнь.

Когда в третий раз Сталин спросил у Фадеева, что делает поэт Пастернак, и узнал, что тот так и не написал поэмы о колхозе, он очень рассердился:

— Мы просим Пастернака показать, как наши труженики добывают хлеб, а он не хочет. Ну что же, давайте немножко урежем хлеб у поэта Пастернака, раз его не интересуют, как этот хлеб добывают.

И Пастернака перестали печатать.

### **ПАНФЕРОВ И ЗАВЕРБОВАННЫЙ ВАРЕЙКИС**

Панферов рассказывал, что однажды по приглашению Сталина он прибыл в его приемную. Сидит, ждет. Вылетает из кабинета Станина взволнованный Шолохов.

— Ну что там, Михаил Александрович?

— А... — раздосадованно махнул рукой Шолохов и вылетел из приемной.

Вызывают Панферова, он входит в кабинет. Сталин сидит один. Панферова сажают напротив, долго возится с трубкой, потом пристально смотрит на Панферова и наконец спрашивает:

— Товарищ Панферов, как вы относитесь к товарищу Сталину? Любите ли вы товарища Сталина? — и пристально смотрит в глаза.

Панферов объясняет:

— Я люблю партию, народ, а их лучшим воплощением является товарищ Сталин, поэтому я люблю товарища Сталина.

Сталин ходит, курит. Неожиданно останавливается рядом с Панферовым и спрашивает в упор:

— Как вы относитесь к Яковлеву? Что вы думаете о нем?

— Раз Яковлев арестован, значит, виноват перед партией и народом.

— А каковы ваши отношения с Варейкисом? Почему вы в своем творчестве так много внимания уделяете Варейкису? Вы его любите?

Панферов начал сбивчиво оправдываться. Сталин, не дослушав, перебивает:

— Варейкис тебя вербовал?

Панферов побледнел от этого странного и опасного вопроса, понимая, что любой ординарный ответ грозит смертью. И сказал, истово перекрестившись:

— Ей богу, нет, не вербовал.

Ответ произвел на Сталина впечатление, и он сказал:

— Правильно, Варейкис знал, кого надо вербовать.

### **КАК ПРОЕКТИРОВАЛАСЬ ГОСТИНИЦА «МОСКВА»**

Сталин дал задание: построить в центре Москвы гостиницу, носящую имя столицы. Архитекторы подготовили проект. Предполагалось, что вождь выберет один из двух вариантов, которые были начерчены на ватмане и разделены осевой линией. Когда Сталину принесли этот лист на утверждение, он не разбираясь в проектных чертежах, поставил свою подпись прямо по осевой линии. Так что нельзя было понять, какой именно вариант был выбран. Никто не отважился переспросить вождя. Так и построили асимметричное здание, если смотреть на него со стороны Манежной площади.

### **ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ИЛЬИНСКОГО СО СТАЛИНЫМ**

Игорь Ильинский рассказывал.

— Впервые меня пригласили в Кремль на праздничный концерт после выхода фильма «Волга-Волга», где я исполнил роль Бывалова. На концерте присутствовал Сталин. Я очень волновался. Когда выходил на сцену, несколько человек в штатском оцупали меня глазами. Двое из них стояли за кулисами и неотступно следили за мной. Я читал рассказ Чехова, но не чувствуя никакого контакта с залом, с ужасом сознавал, что проваливаюсь. Обстановка была непривычна: люди в зале сидели за маленькими столиками по че-

тыре человека. Вдали стоял длинный стол, за которым сидели члены Политбюро, в центре — Сталин. Все ели, пили, переговаривались, и мне казалось, что меня никто не слушает. От этого я волновался еще больше и непрерывно вертел пуговицу на пиджаке. Вскоре пуговица отскочила и запрыгала по сцене, я следил за ее прыжками, пока не потерял из виду. Продолжая выступление, я все еще искал глазами мою пуговицу, а когда сошел со сцены, ко мне приблизился один из молодых людей в штатском и строго спросил:

— Что вы там высматривали?

— Пуговицу, — показал я на пиджак.

Совершенно растерянный, с ощущением актерского провала, я сел за столик рядом с певицей Шпиллер. И вскоре увидел, что к нам приближается вождь. Мы встали. Сталин похвалил певицу за исполнительскую деятельность, но сделал замечание:

— У вас плохо получается верхнее «до», вам нужно поработать над верхним «до».

Шпиллер поблагодарила за замечание и обещала поработать.

Потом Сталин повернулся к сопровождавшим и сухо спросил, показывая на меня:

— А это кто такой?

— Известный артист Ильинский, товарищ Сталин.

— Кому известный? — недоумевал Сталин. — Мне неизвестный.

Я попытался объяснить, что я актер театра и кино Игорь Ильинский.

Но Сталин не слушал.

— Как он сюда попал? Кто он?

Мне стало страшно. Наконец человек, видимо, отвечавший за то, что меня сюда пропустили, в отчаянии проговорил:

— Это актер Ильинский. Он только что удачно сыграл в кинофильме «Волга-Волга».

И тут Сталин расплылся в улыбке, пожал мне руку и воскликнул:

Товарищ Бывалов! Здравствуйте! Мы, бюрократы, всегда пойдем друг друга...

### МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

В 30-х годах Сталин пригласил к себе четырех крупнейших кинематографистов и спросил, что им нужно для успешной работы: «Просите. Не стесняйтесь. Постараемся помочь».

Ромм пожаловался, что ютится в маленькой комнате, жена болеет, нужна квартира.

— Хорошо. Будет вам квартира, — сказал Сталин.

Пудовкин объяснил, что он может работать только за городом — нужна дача.

— Хорошо. Будет вам дача, — пообещал Сталин.

Пырьев сказал, что дача у него есть, но добираться туда трудно. Он устает, не может работать. Нужна машина.

— Хорошо. Будет вам машина, — ответил Сталин.

Александров замялся: у него столь большая просьба, что он даже не решается ее произнести.

— Говорите, не стесняйтесь, — подбодрил Сталин.

— Я хотел бы, товарищ Сталин, получить вашу книгу «Вопросы ленинизма» с автографом. Это будет меня вдохновлять.

— Хорошо. Будет вам книга с автографом, — ответил Сталин.

Квартиру, машину и дачу Александров получил в качестве бесплатного приложения к книге с автографом.

### СТАЛИН И НУЖНЫЙ ФИЗИКЕ ЧЕЛОВЕК

Однажды к Сталину пришел академик Петр Леонидович Капица и говорит: «Арестован физик Ландау, прошу освободить — он мне нужен». Сталин адресует просьбу находившемуся рядом Берии. Тот отвечает: «Ландау арестован как англо-немецко-французский шпион». Сталин разводит рука-

ми, мол, ничего не поделаешь. «Да, но он мне нужен» — говорит Капица. Сталин движением бровей делает знак: мол, обращайтесь к Берии. Тот поясняет: «Ландау признался в том, что он шпион». Сталин снова разводит руками: «Арестован, шпион, признался!» — «Да, но он мне нужен!» — не отступает Капица. Сталин вновь кивает на Берию. А тот говорит: «Уже состоялся суд и признал Ландау виновным». Сталин опять разводит руками: уж если и суд решил — ничего не поделаешь. Капица настаивает: он мне нужен. Сталин теряет терпение и обращается к Берии: «Слушай, Берия! Видишь, он человеку нужен! Раз нужен — отдай!»

### ЗВЕЗДНЫЕ ИГРЫ

В три часа ночи в Совете Народных Комиссаров раздался звонок. Трубку снял дежурный. Из трубки донесся голос Сталина:

— Товарищ дежурный, у нас тут интересная игра. Товарищ Ворошилов утверждает, что над Кремлем находится Марс, а товарищ Молотов — что Юпитер. Надо узнать, кто выиграл пари.

Дежурный поднял с постели известных ученых, имеющих мало-мальское отношение к звездному небу. Наконец астроном Василий Григорьевич Фесенков, ворча спросонья, подошел к окну и, взглянув на небо, сказал:

— Это не планета, а созвездие Кассиопея.

Обрадованный дежурный позвонил в Кремль и доложил:

— Товарищ Сталин, ваше задание выполнено: никто не выиграл. Над Кремлем — звезда Кассиопея.

Сталин ответил:

— При чем тут звезды! Мы уже здесь играем в другие игры.

## ЗАСТУПНИК

Как-то в присутствии Александрова Сталин спросил Любовь Орлову:

— Тебя муж не обижает?

(С женами Сталин разговаривал обычно «на ты».)

— Иногда обижает, но редко.

— Скажи ему, что если он будет тебя обижать, мы его повесим.

Тут, полагая ситуацию шутливой, Александров спросил:

— За что повесите, товарищ Сталин?

— За шею, — мрачно ответил вождь.

## «КАК ПТИЦУ, ВЫРАСТИТ ЕГО».

Сельвинского вызвали с фронта и сразу привезли на заседание Политбюро. Заседание вел Маленков. Он долго добивался от поэта, что значат эти строки: «Как птицу, вырастит его»? «Кого вы имели в виду?» Сельвинский, волнуясь и не понимая, что от него хотят, объяснил их единственный смысл: русская природа добра ко всему живому. Неожиданно и непонятно откуда в зале заседания появился Сталин и сказал:

— С Сельвинским следует обращаться бережно: его стихи ценили Бухарин и Троцкий.

От слов этих Сельвинский чуть не потерял сознание:

— Товарищ Сталин, что же я в одном лице право-левацкий блок осуществляю?! Я тогда был беспартийный мальчик и вообще не понимал, что они писали.

Сталину реплика понравилась, и он сказал:

— Надо спасти Сельвинского.

Маленков, который перед этим топал на поэта ногами, теперь оказался в неловком положении и дружески сказал:

— Видите, товарищ Сельвинский, что вы наделали?

Сельвинский ответил:

— Товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти.

Все расхохотались. Сельвинский попросил почитать стихи. Фадеев и Щербаков поддержали эту просьбу. Сельвинский прочел «Русской пехоте». Стихи всем понравились. И было принято решение запретить Сельвинскому пребывание на фронте. Сельвинского огорчил этот запрет: «у нас в семье — «военная косточка». Дед — кантонист, отец участвовал в русско-турецкой войне, а меня не пускают на фронт». Сельвинского долго не печатали, впрочем, он избегал худшего...

## ЧУВСТВО ЮМОРА

В 1943 году на совещании в Ставке, прогуливаясь по комнате, Сталин обратился к генералу Е: «А вы, товарищ, все еще на свободе?» Генерал вернулся домой напуганный, расстроенный, попрощался с женой, приготовился к аресту. Однако прошел день, два, неделя, — его никто не побеспокоил.

В начале 1944 года на совещании история повторилась, и Е. решил: погиб. Однако опять все обошлось. В конце того же года его вновь вызвали в Ставку. Е. ехать боялся: попадет на глаза Сталину, и тот вспомнит свои слова... Во время совещания Сталин действительно подошел к нему и снова говорит: «Понять не могу, почему вас до сих пор не арестовали». И в этот раз все обошлось. Эпизод повторился и в начале 1945 года. А после окончания войны на банкете в честь победы Сталин сказал: «В самые трудные дни войны мы не теряли оптимизма и чувства юмора. Не правда ли, товарищ Е?»

## РЕПЛИКА ВОЖДЯ

Невеста одного правдиста танцевала в ансамбле, которым руководил известный хореограф. Правдист собрался попросить хореографа отпустить невесту в свадебное путешествие. Чтобы не отказали, решил обратиться со своей



просьбой в особо торжественной обстановке — во время правительственного концерта в Большом театре. После первого отделения жених отправился за кулисы, но обстановка оказалась неподходящей. Председатель Комитета по делам искусств Храпченко строго отчитывал хореографа:

— Я же просил не ставить этот номер в программу.

— Но ведь все прошло хорошо. Товарищ Сталин аплодировал — я сам видел.

— Да, товарищ Сталин хлопал. Однако раз на раз не приходится, и я требую, чтобы в дальнейшем вы не нарушали моих указаний. Это может плохо кончиться...

Правдист терпеливо ждал конца разговора и вдруг увидел, что к спорящим почти неслышно приближается Сталин. Понимая, что ему не место в таком окружении, он отошел на почтительное расстояние и увидел странную картину. Сталин подошел к спорящим, что-то сказал им и удалился. А Храпченко и хореограф, которые только что ругались, вдруг обняли друг друга и в тишине стали вальсировать.

После концерта правдист вновь разыскал хореографа, получил разрешение на отпуск невесты и в конце поинтересовался, что сказал товарищ Сталин. Оказалось, что, проходя, он бросил реплику:

— Все о делах, да о делах, потанцевали бы!..

### **НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ВОЖДЯ**

На приеме в честь победы в войне Сталин произнес знаменитый тост за великий русский народ и его терпение. К нему подошел маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко и сказал:

— Как вы, товарищ Сталин, замечательно сказали о русском народе! Как глубоко! Откуда вы, грузин, так глубоко знаете русский народ?

Сталин сердито ответил:

— Я не грузин. Я русский грузинского происхождения. Рыбалко на некоторое время впал в немилость.

### **«ПЛОХО»**

Товстоногов рассказывал.

Как-то после войны Козинцев показывал свой фильм Сталину и пытался угадать его впечатление. Вдруг вошел Поскребышев, передал записку, осветил фонариком. Сталин буркнул: «Плохо». Козинцев потерял сознание. Сталин сказал:

— Когда проснется этот хлюпик, скажите ему, что «плохо» относится не к фильму, а к записке. Товарищу Сталину весь мир говорит «плохо» — не падает же Сталин от этого в обморок.

### **ЗАРУБЕЖНАЯ ГАСТРОЛЬ КОЗЛОВСКОГО**

Козловский, зная, что Сталин к нему благоволит, однажды обратился с просьбой.

— Я никогда не ездил за границу. Хотелось бы съездить.

— Не убежишь?

— Что вы, товарищ Сталин, родное село мне намного дороже, чем вся заграница.

— Правильно, молодец. Вот и поезжай в родное село.

### **УГАДАННОЕ ЖЕЛАНИЕ**

У Сталина появился новый доверенный охранник, сопровождающий вождя в машине. После первой же поездки новичка вызвал Поскребышев и спросил:

— Каким маршрутом ехали?

Охранник описал.

— Что говорил товарищ Сталин?

— Ничего.

— Совсем ничего не сказал?

— Нет, когда были у Смоленской площади, около высотной новостройки, он сказал одно слово.

— Какое?!

— ...Пиль...

— Ага, понятно, вы свободны.

Ночью автора проекта высотного здания на площади Восстания архитектора Михаила Васильевича Посохина и создателей других высотных домов пригласил Берия. Он сказал: «Традиции русской архитектуры не учтены в ваших проектах. Нужно завершить все здания шпилями». Один из архитекторов со слезами на глазах стал умолять не трогать его проект: высотное здание на Смоленской площади уже сооружено, и шпиль в нем не предусмотрен. Берия строго заметил: «Придется предусмотреть».

Через неделю «Правда» опубликовала статью о русской традиции шпилевой архитектуры, после чего на высотных домах появились шпили.

Когда дом на Смоленской площади был готов, Сталин, рассматривая его, спросил:

— Какому дураку пришло в голову увенчать это здание шпилем?

### **ОБЛИВНОЙ ПЕТУШОК И ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ**

Мастер фарфоровых миниатюр и детских игрушек из глины Сергей Михайлович Орлов сотворил однажды обливного петушка, который попал на выставку. Молотов сопровождал по выставке важного американца, и гостю очень понравился этот экспонат. Недолго думая, Молотов снял его со стенда и подарил иностранцу.

Когда выставка закрылась и экспонат не вернули автору, тот заявил протест выставкому и узнав, что петушок подарен американцу, в гневе воскликнул: «Я делал петушка для советских детей, а не для американских империалистов».

Выставком попытался предложить скульптору компенсацию в размере 400 рублей, но тот деньги получать не стал, а написал жалобу товарищу Сталину: мол, я игрушку делал для советских детей, а не для капиталистов, и пусть вернут мне мое произведение.

Жил скульптор где-то под Москвой и однажды увидел у своего дома большую машину. Его пригласили в нее сесть и, ничего не объясняя, повезли в неизвестном направлении. Привезли в Кремль и велели войти в указанную дверь. Он вошел и очутился на заседании Политбюро, которое вел Сталин.

— А вот и наш скульптор зашел к нам. Какое у вас дело, товарищ Орлов?

И правдоискатель, запинаясь, рассказал о случившемся.

— Да, — сказал Сталин, — товарищ Молотов совершил ошибку, и мы должны сделать ему строгое замечание и указать, чтобы впредь он игрушки, созданные для советских детей, не отдавал заокеанским богачам.

В этот момент в зал вошел Председатель Союза художников Иогансон.

— А вот, кстати, и наш художник к нам пожаловал, — сказал Сталин. — Товарищ Иогансон, я слышал, что готовится памятник Юрию Долгорукому. Есть такое мнение: поручить сооружение памятника товарищу Орлову. Как вы предполагаете, товарищ Иогансон, справится этот мастер с такой задачей?

— Конечно, товарищ Сталин, раз вы поручаете, то справится.

— А вас, товарищ скульптор, устроит гонорар за этот памятник в размере 40000 рублей? Ну вот и хорошо.

В помощь создателю обливного петушка, дали еще двух скульпторов. Эта бригада и создала истукана, которого установили на площади против Моссовета, и дали ему имя Юрия Долгорукого.

### **ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ**

Однажды Сталин в беседе с Фадеевым похвалил повесть Анатолия Рыбакова «Водители», опубликованную в 1950 году:

— Лучшая вещь в прозе этого года.

Неудивительно, что в 1951 году Рыбакова включили в список кандидатов, представленных к Сталинской премии. Вместе со списком Сталин просматривал и приложенные к нему краткие характеристики, подготовленные МГБ. Остановившись на характеристике Рыбакова, он недовольно спросил.

— А почему включили в список Рыбакова?

— Лучшая вещь в прозе этого года, товарищ Сталин, — напомнил Фадеев.

— Зачем включили? Неискренний человек. Сидел, скрыл свое прошлое и пробрался в партию. Разберитесь там, пожалуйста.

Алексей Сурков и Фадеев, с одной стороны стола, и Берия — с другой, согласно закивали головами. Перед заключительным обсуждением кандидатов в лауреаты Сурков на всякий случай затребовал из отдела кадров личное дело Рыбакова. Картина получалась такая: в молодости Рыбакова посадили за выступление на комсомольском собрании. Через несколько лет выпустили. В партию он не вступал.

На обсуждение Сурков захватил личное дело Рыбакова. Сталин просмотрел окончательный список, откуда Рыбаков давно был вычеркнут, и, хотел было, поставить подпись, как вдруг вспомнил:

— А как дела с тем неискренним человеком, который обманул партию?

— Товарищ Сталин, Рыбаков не обманывал партию: он беспартийный.

— Хорошо работаешь, Лаврентий Павлович, хорошо у тебя получается, — сказал Сталин и своей рукой вписал Рыбакова в окончательный список лауреатов.

## КОРИФЕЙ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Когда в начале 50 годов на страницах прессы развернулась дискуссия о языке, академик Виктор Владимирович

Виноградов подготовил для Сталина статью «Марксизм и вопросы языкознания». Сталин обработал этот материал, придав ему свою интонацию и стилистику. Утром, раскрыв газету, Виноградов прочел статью Сталина и ужаснулся: происхождение русского языка объяснялось в ней ошибочно. Вместо того, чтобы сказать, что русский язык произошел из курско-московского диалекта, было написано: «из курско-орловского». В сознании Сталина со времен войны запечатлелось устойчивое сочетание «курско-орловская дуга», и он описался. С душевным трепетом Виноградов позвонил в секретариат Сталина и сообщил про описку Поскребышеву. Тот ответил: «Раз товарищ Сталин написал про курско-орловский диалект, значит, из него теперь и будет происходить русский язык».

## ТАПОЧКИ

Михаил Ильич Ромм рассказывал мне.

В доме Сталина свет зажигался сразу во всех комнатах, и снаружи нельзя было определить, в какой из них находится вождь. Точно так же свет тушился сразу во всем доме. Было несколько абсолютно похожих друг на друга комнат: стол, кровать, кресло. Никто никогда не знал, в какой комнате Сталин работает, а в какой спит. Квартира отделялась от внешнего мира бронированной дверью, в которой находилось окошко для передачи пищи. Ни один заключенный в мире не содержался в такой изоляции, на какую сам себя обрек Сталин.

При доме жил и допускаясь в комнаты Сталина молодой охранник, исполнявший обязанности денщика. Он вытирал пыль, чистил обувь и делал другую нехитрую работу, поддерживая в сталинской обители порядок и казарменно-спартанский уют. В порыве благоговейного преклонения молодой денщик подумал, что, как он ни старается, а все-таки сапогами топает и беспокоит вождя. Он выделил из полочки деньги и купил себе тапочки. Но и этого ему пока-

залось мало. Он подшил их сукном. Шаг его стал мягким, бесшумным.

Однажды Сталин неожиданно проснулся от тишины, не услышав привычного топота сапог, он нащупал наган, который всегда держал под подушкой, но увидел знакомую фигуру денщика, который беззвучно передвигался по комнате.

На следующий день Сталин пожаловался Берии:

— Зачем-то ходит в тапочках, а не в сапогах. Хочет подкрасться, когда я сплю...

Охранника расстреляли за попытку покушения на жизнь вождя...

В конце 50-х годов его мать подала прошение о реабилитации сына, тогда и выяснилась эта история.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ

В 1947 году Сталин вызвал министра внутренних дел Круглова и его заместителя Сабурова и поинтересовался данными о преступности в стране. Сведениями остался недоволен и сказал: «Мало. Мы должны решить проблему кадров. Промышленности нужны люди». Сталину казалось: чем больше заключенных — тем лучше, потому что их труд способствует решению народнохозяйственных задач. Экономическое мышление вождя было на уровне эпохи Среднего царства Древнего Египта.

## ПОЧЕТНАЯ ССЫЛКА

Сталин завидовал славе Жукова. В историю вождь хотел войти единственным полководцем, выигравшим войну. Жуков этому мешал.

После войны он отправил маршала командовать Одесским округом. Но через два года эта ссылка показалась Сталину недостаточной. Жуков был вызван в Москву. Сталин показал ему бумагу, подписанную Берия и Абакумовым,

утверждавшую, что Жуков более пятнадцати лет является агентом английской разведки. Маршал изменился в лице, но Сталин дружески положил ему на плечо руку и сказал: «Я не верю этому. Однако видишь: здесь две подписи, машинистка печатала, в моем аппарате два-три человека знают. Поэтому куда-нибудь тебя все-таки придется отправить. Назначим тебя командующим Уральским округом».

## МОЛДАВСКИЕ ПЛЯСКИ

В Большом театре завершалось торжественное заседание, посвященное Октябрьскому празднику 1950 года. Все встали и запели «Интернационал». Сталин взял под козырек, хотя никакой шапки на нем не было. Поскребышев с сожалением прошептал: «Постарел наш вождь!» У Сталина был острый слух — он услышал эти слова. После торжественной части состоялся праздничный концерт.

Последним номером было выступление молдавского танцевального коллектива. Лихие пляски вызвали в зале бурную овацию. В сопровождении Поскребышева Сталин вышел из правительственной ложи. Навстречу шел человек с густыми бровями. Сталин сказал:

— Молодцы твои молдавьяни!

Человек смущенно улыбнулся, а Поскребышев сказал:

— Товарищ Сталин, это Брежнев — секретарь Днепропетровского обкома.

— Постарел ты, Поскребышев. Стал отставать от жизни.

В тот же вечер Сталин распорядился избрать товарища Брежнева первым секретарем ЦК Молдавии.

## КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СПАС КЛИМЕНТА ВОРОШИЛОВА

После окончания Отечественной войны одного из наших крупных флотоводцев пригласили на заседание Политбюро сделать доклад о перспективах развития флота. Адмирал выдвинул альтернативу: или построение ряда не-

больших судов, или строительство крупных боевых единиц, что будет стоить во много раз дороже.

Первым при обсуждении взял слово Ворошилов. Его точка зрения была такой: восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, потребует больших расходов, поэтому принять следует первое предложение.

Ворошилов сел, и наступила тишина. Берия уловил настроение Сталина и сказал, что нашей великой стране нужен великий флот — у нас хватит сил его создать, несмотря ни на какие трудности.

Сталин выдержал длинную паузу, а потом заговорил:

— Мы всегда подозревали, что Ворошилов — английский шпион, однако у нас не было доказательств. Теперь он сам себя разоблачил. Он хочет, чтобы Британия стала владычицей морей, а у Советского Союза не было мощного флота. Куда ты смотришь, Берия? Плохо работаешь!

Ворошилов сидел белый, как бумага. По его лицу текли крупные капли пота.

Сталин, снова выдержав паузу, сказал, что вопрос не подготовлен, и перенес обсуждение на следующее заседание. Затем предложил посмотреть свой любимый фильм Чарли Чаплина «Новые времена». Все перешли в соседний зал с экраном на передней стене. В зале стояли маленькие столики, на них — по две бутылки боржоми, и у каждого столика — два стула. Все расположились по двое. Только Сталин сел один за первый столик, а Ворошилов — обреченно за последний. Никто не решался к нему подсесть.

Сталин смотрел фильм с большим интересом, а когда героя освобождали из тюрьмы, у него выступили на глазах слезы.

Фильм кончился. Включили свет, а Сталин продолжал сидеть. Никто не двигался. Наконец он поднялся, окинул всех просветленным взглядом и сказал:

— Мало мы заботимся о людях. Вот, например, наш старый боевой товарищ. Он много сил отдал нашей победе, а теперь устал и даже начал ошибаться. И никто не позабо-

тится, чтобы он отдохнул. Почему ты, Берия, не предложишь ему путевку в санаторий?

### **ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИНОГРАДОВЫМ?**

По делу врачей арестовали главным образом врачей-евреев. Однако был среди них и Владимир Никитич Виноградов — лечащий врач Сталина, рекомендовавший ему по состоянию здоровья покой и отход от дел. Ни следовательно, ни новый министр Игнатъев не знали, что с ним делать. При первой же встрече со Сталиным Игнатъев спросил, как следует поступить с Виноградовым. Сталин ответил:

— Не знаешь, что делать? Он должен быть связан с сионистской организацией Джойнт.

— Но Виноградов русский.

— Значит, он английский шпион, а Англия покровительствует Джойнту.

— Однако Виноградов ничего не подписывает и просит сообщить вам, что он ни в чем не виноват.

— Не виноват! Шпион иностранной разведки — не виноват! Имейте в виду, Виноградов человек слабохарактерный, его не надо бить, достаточно надеть на него кандалы, и он все подпишет. Я его хорошо знаю.

### **ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА**

Илья Эренбург рассказывал мне, как в феврале 1953 года его пригласил в ЦК Маленков. Вначале он хвалил писателя, возносил до небес его творчество, а потом сказал: «Прошу вас ознакомиться с одним письмом. Я ценю вас и отношусь к вам с читательской привязанностью, поэтому настоятельно советую подписать его».

Эренбург внимательно прочел документ, под которым уже стояли подписи известных людей. В письме говорилось: мы, евреи — деятели культуры — воспитывали своих

детей в антипатриотическом духе. Мы и наши дети виноваты перед всеми народами Советского Союза, так как противопоставили себя им. Затем следовал перечень преступлений евреев. И в конце покаяние: мы становимся на колени перед народами нашей страны и просим наказать и простить нас.

Эренбург отложил письмо и сказал:

— Я этого подписать не могу.

Маленков сказал:

— Желая вам добра, очень советую не отказываться. Иначе не смогу поручиться за вашу судьбу, которая мне дорога. Ваш отказ там — Маленков вскинул глаза к потолку — не поймут и не примут. Ваш отказ вызовет такие последствия, что я не смогу вам помочь.

Эренбург довольно долго молчал и наконец сказал:

— Я не могу подписать это письмо, потому что партия и лично товарищ Сталин поручили мне руководить движением за мир, а его публикация разрушит это движение. Получено официальное заявление Жюлио Кюри и других западных деятелей, что они выйдут из движения за мир, если не получат неопровержимых данных о том, что дело врачей не является инсценировкой.

— Я по-прежнему думаю, что вам лучше подписать, — настаивал Маленков. — Если же вы отказываетесь, я советую: все аргументы которые вы мне высказали, изложите в письме на имя товарища Сталина и завтра передайте мне. Я прослежу, чтобы ваше обращение попало лично к товарищу Сталину. Однако я уверен, что это не повлияет на его решение. Письмо с подписями представителей еврейского народа будет опубликовано на следующей неделе в «Правде».

Эренбург последовал совету Маленкова и всю ночь писал письмо Сталину. Писал и рвал, пока ему не удалось изложить свои мысли точно и корректно, с учетом психологии адресата.

Из дальнейшего мы знаем, что коллективное письмо в печати не появилось. Почему? Сталин ушел из жизни и унес с собой ответ на этот вопрос.

Но о замыслах вождя стало известно. Согласно сталинскому сценарию над «врачами-убийцами» должен был состояться суд, который приговорил бы их к смерти. Казнить их предполагалось на Лобном месте на Красной площади. Некоторых «преступников» — казнить, других позволить разъяренной толпе отбить у охраны и растерзать на месте. Затем толпа должна была устроить в Москве и других городах еврейские погромы. Спасая евреев от справедливого гнева народов СССР, правительство должно было собрать их в пунктах концентрации и эшелонами вывезти в Сибирь.

Хрущев пересказывал Эренбургу свою беседу со Сталиным. Вождь наставлял: «Нужно, чтобы при их выселении в подворотнях происходили расправы. Нужно дать излиться народному гневу». Играя под дурачка, Хрущев спросил: «Кого их?» — «Евреев», — хладнокровно пояснил Сталин. Утверждая план депортации, он распорядился: «Доехать до места должно не более половины». Необходимо, чтобы по дороге снова начались «стихийные» проявления народного гнева — нападения на эшелоны и убийства депортируемых. Таким образом великий вождь готовил окончательное решение еврейского вопроса в России, как рассказал об этом Эренбург.

## ИЛЬИНСКИЙ О ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧЕ СО СТАЛИНЫМ

Это было в конце 1952 года. Я был приглашен на концерт, посвященный окончанию работы XIX съезда партии. Все шло хорошо и привычно. Выступал Краснознаменный ансамбль песни и пляски. Я видел, что Сталину нравится это выступление. Но вот от стола, за которым сидело правительство, отделился Ворошилов, поспешно пошел к руководителю ансамбля Александрову и передал ему просьбу Сталина сыграть «Яблочко». Зазвучал знакомый мотив. Сталин поднялся из-за стола, подошел к дирижеру и встал рядом с ним. Заложив руку за френч, Сталин выпрямился и начал петь, а Александров дал знак оркестру играть тихо,

чтобы слышен был негромкий, старческий голос исполнителя:

Эх, яблочко, куда котишься,  
В Губчека попадешь —  
Не воротишься —  
В Губчека попадешь —  
Не воротишься...

### **СМЕРТЬ СТАЛИНА**

Было заведено в определенное время через окошечко в двери (как арестанту!) подавать Сталину пищу и световой сигнализацией, как в известных опытах Павлова, напоминать о еде. В один из первых дней марта, утром, старуха, выполнявшая обязанности официантки, пришла взять с окошка посуду от ужина. Ужин оказался нетронутым. Старуха подала завтрак, сообщила об этом мерцанием лампочки и заглянула в глазок: Сталин сидел и писал. Когда через полчаса офицер посмотрел в глазок снова, то опять увидел Сталина склоненным над столом. И хотя вождь не притронулся к завтраку, его, согласно инструкции, запрещалось беспокоить. Когда еще через полчаса выяснилось, что Сталин не переменял позы, офицер доложил об этом начальству. Охрана не знала, что делать. Наконец вызвали соратников и Светлану. Они поняли: что-то случилось, и решили взломать дверь. Однако все попытки оказались безуспешными, так как дверь была сделана из толстой, снарядонепробиваемой стали. Длинный и узкий стальной ключ, которым она открывалась, находился у Сталина. И вдруг нашелся элементарно простой выход, делавший бессмысленной тяжелую броню. Дверь сравнительно легко приподняли и сняли с петель. Войдя в кабинет, поняли, что рука вождя, будто бы пишушая, на самом деле тянулась к сигнализации. Полумертвого Сталина перенесли на диван. Срочно вызвали какого-то малоизвестного врача из департамента Берия.

Известные доктора, следившие за здоровьем Сталина, к тому времени были в тюрьме. Сталин, незадолго до этого перенесший удар, не приходя в сознание умер. 5 марта 1953 года должен был начаться процесс над врачами. По иронии судьбы этот день стал днем смерти Сталина.

### **ЕЩЕ ОДИН ИСТУКАН**

В Туруханском крае, на берегу Енисея стояла огромная беломраморная статуя вождя. Ее было видно и с суши, и с проходивших по реке пароходов. Монумент сбросили в реку. Сейчас, если смотреть с борта парохода, под чистой и прозрачной водой видна фигура усатого человека, лежащая на дне. И когда волны перекатываются, беломраморный Сталин шевелит усами.

### **САПОЖНИКИ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ**

Болгарский поэт Божидар Божилов был в Грузии. Возвращался в гостиницу после доброго застолья. У входа увидел сапожника, прибывающего набойку. Остановился и стал пристально его рассматривать. Сопровождающие его грузины с удивлением спросили:

— Божидар, что ты разглядываешь? Что тут интересного? Сапожник как сапожник.

Божидар ответил:

— А может быть, он отец нового Сталина?

### **ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ**

Его вынесли из Мавзолея. Теперь его называют перемещенным лицом. Его похоронили рядом с убитым им Фрунзе. Говорят, Фрунзе спросил: «Куда дальше пойдете?» Сталин ответил: «Куда пошлет партия».

## ПОРТРЕТЫ РОССИИ

В Советском Союзе издавна принято считать, что первейшая задача фоторепортера отразить эпоху. И вот в советских газетах и журналах, из номера в номер публикуются фотографии о жизни советских людей. О их темах говорить нет смысла. Темы эти хорошо известны. Но ради объективности отметим, что в СССР немало отличных мастеров фотоискусства. И не их вина в том, что среди всего созданного ими мы редко находим работы, тема которых внутренний мир человека. Время, которое нынче называют эпохой застоя, сделало свое дело и здесь: целью фотографии было воспевать прекрасную советскую жизнь и ее героев, в черед которых просто не оставалось места живому, взятому из повседневности человеку. И так же, как настоящая литература, как живопись и театр, подлинное, «очеловеченное» искусство фото многие годы находилось в подполье, в «самиздате», ожидая, когда придет его час. Работам одного из таких неофициальных фотомастеров мы и посвящаем этот вернисаж.

Кандидат технических наук Михаил Дашевский, занимающийся фотографией с 1964 года, опубликовал за четверть века всего лишь одну свою работу. Про него, как и про многих советских литераторов, можно сказать, что всю жизнь он «работал в стол». Чтобы понять, почему так получилось, достаточно бросить взгляд на его

фотографии. Все тяготы и лишения, все российское неустройство тяжелой печатью легло на лица его героев, на их взгляды, на весь их облик. Взгляните, на «Старика», сфотографированного Дашевским в Москве, у Павелецкого вокзала, или на его деревенского «Дядю Колю» из-под Вышнего Волочка, или на «Еврейскую сапожницу в Кременчуге», или на «Женщину в московском автобусе», или на фотоэтиюд «В московском метро» — да на любую из его работ, которые он сделал во время своих путешествий по городам и весям России: кажется все российское лихо воплотилось в его фотографиях.

«Для меня, — рассказывает Дашевский, — суть дела совсем не в том, чтобы отразить в объективе событие. Я вообще не делаю фоторепортажей, они мне не интересны. Я стремлюсь на самом деле лишь к одному — увидеть и запечатлеть внутреннее состояние человека в его обычной, повседневной жизни. И тем самым, если удастся, выразить время. Впрочем, когда снимаешь, об этом не думаешь, а просто сочувствуешь людям, хочешь понять их. Я останавливаюсь возле человека, когда меня в нем что-то тронуло, и никогда — не снимаю «по заказу», даже внутреннему. Снимок — это моя личная оценка момента жизни. Насколько верна эта оценка, судить не мне».

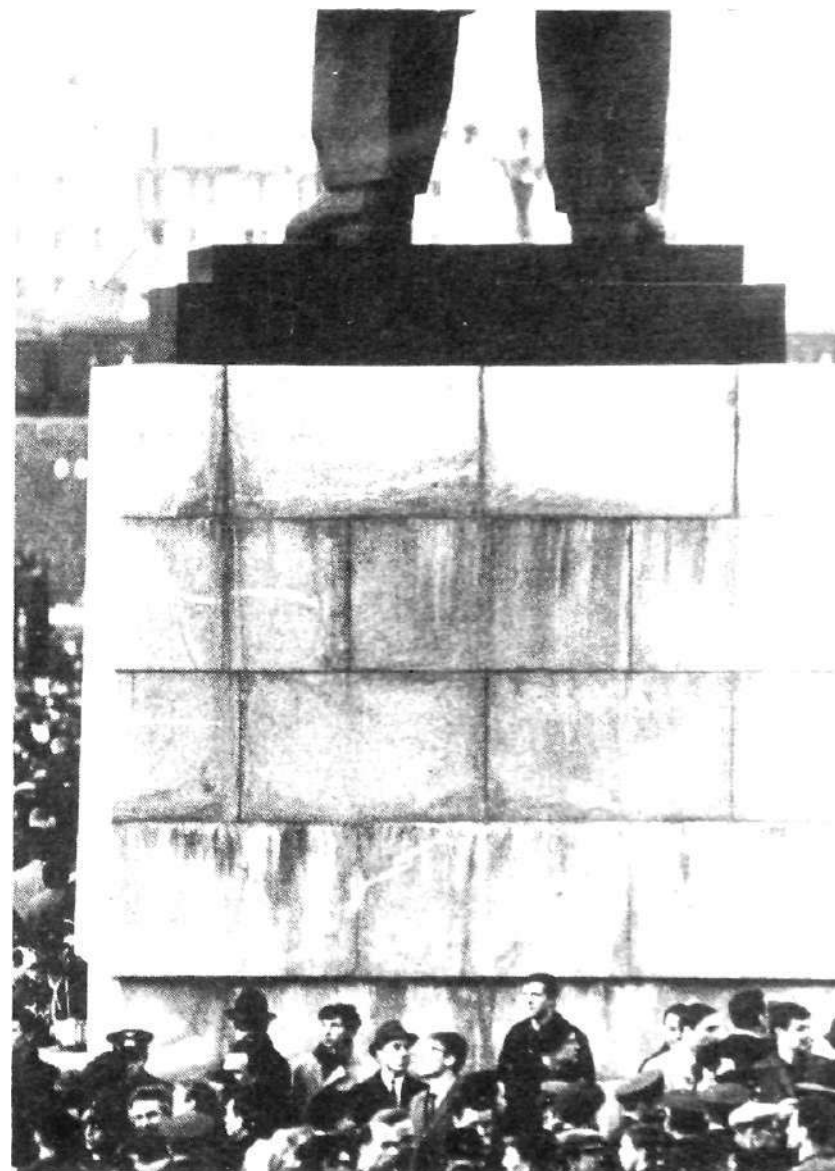
Конечно, в жизни любого человека, сколь бы тягостна она ни была, не одни только тяготы и неустройство. Поэтому можно сказать, что перед нами довольно печальная, пессимистическая фотосерия. Но вправе ли кто-то требовать от художника «заказного оптимизма», тем более, когда идет речь о многострадальной истории России, о несчастной жизни ее народа? Мастер рассказывает об этой жизни так, как он ее видит. И не в этом ли сугубо личном, пропущенном через его душу видении, заключено самое дорогое, что может нам дать художник?

*В. Петровский*





Дочь рыбака.



Под ногами В. И. Ленина. (Лужники).



Ялта. Набережная.



Старуха. Вильнюс.



Еврейская сапожница. Кременчуг.



Старик. Возле Павелецкого вокзала в Москве.



Ельцин перед выборами.



Женщина в московском автобусе.



Дочь писателя Юрия Дружникова.



Дядя Коля.



Лицо русской сатиры. (Н. В. Гоголь).



В московском метро.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**БОРИС НОСИК** — родился в 1931 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Член Союза писателей СССР, Борис Носик известен как писатель документалист, ему принадлежит ряд очерковых и публицистических книг. Среди них наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. На немецком языке биография Швейцера была издана восемь раз. С середины семидесятых годов в Самиздате стали ходить романы, повести и рассказы Бориса Носика. Одна из его повестей «Турпоход», пришедшая по каналам самиздата, и публикуется в этом номере.

**АСАР ЭППЕЛЬ** — родился в 1935 году в Москве. Член Союза писателей СССР. Известен своими стихотворными переводами (в основном из польской поэзии). Пишет книги для детей. Написал стихи и либретто для идущего во многих театрах СССР мюзикла по одесским произведениям Бабеля «Биндюжник и король» («Закат»). Работает для кино. В настоящее время живет в Москве.

**СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ** — журналист и писатель. Родился в 1941 году, в Ленинграде. С 1962 года стал писать прозаические вещи. За публикацию своих книг на Западе подвергался преследованиям со стороны властей. Эмигрировал на Запад в 1979 году. Публиковался во многих газетах и журналах русского Зарубежья. Выпустил более десяти книг, четыре из которых переведены на несколько европейских языков. Лауреат премии американского Пенклуба за лучший рассказ 1986 года. Первые рассказы Довлатова были опубликованы в журнале «Время и мы» в 1977 году.

**АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ** — родился в 1926 году в Калининне. Окончил Литературный институт имени Горького. Первые стихи опубликовал в 1948 году. Автор более 20 книг. Лауреат гос. премии СССР, присужденной, за книгу лирики «Азарт». Главный редактор журнала «Юность». Стихи Андрея Дементьева переведены на английский, немецкий, японский, французский, португальский и многие другие языки.

**ЭРАСТ ГЛИНЕР** — родился в Киеве, с трех лет жил в Ленинграде. В 1940 году поступил в Ленинградский университет. Участник войны. Вернулся в Университет в 1944 году. Вскоре после войны был арестован и сослан в сталинские лагеря. Специалист в области общей теории относительности. С 1975 года разработал с друзьями математические модели общества, пытаясь понять, был ли путь страны от Октября до развитого социализма неизбежным.

**ПЕТР БОЛДЫРЕВ** — окончил философский факультет ЛГУ. Член американской философской ассоциации. Принимал участие в ленинградском диссидентском культурном движении за свободу творчества. Эмигрировал в 1976 году. Статьи и выступления П. Болдырева публиковались в США, Канаде, Европе и Австралии.

**СЕМЕН РЕЗНИК** — родился в Москве в 1938 году. В 1963-73 годах работал редактором серии «Жизнь замечательных людей». Был членом Союза писателей и Союза журналистов СССР. В 1968 году в серии ЖЗЛ вышла первая книга Семена Резника — биография академика Вавилова, в последующие годы выходит еще ряд книг — «Мечников», «Эволюция и эволюционисты», «Владимир Ковалевский» и другие. Параллельно, автор занимается историей и современным состоянием еврейского вопроса. В 1979 году закончил работу над историческим романом «Хайм-да-Марья», которую удалось опубликовать лишь в 1982 году в Америке. Эмигрировал С. Резник в 1982 году. Постоянно публикуется в русской зарубежной и американской печати.

**ЕЛЕНА ГЕССЕН** — публицист и переводчик. Окончила Институт иностранных языков в Москве, специалист по немецкой литературе. Работала во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы. Эмигрировала в США в 1981 году. В настоящее время — научный сотрудник Гарвардского русского научного центра. Регулярно публикуется в русскоязычной прессе. Перевела на русский язык ряд книг, в том числе «Охота за «Красным октябрём» Тома Кленси, «Зимний дворец» Дэнниса Джонса, «Жертвы Ялты» Ник. Толстого, «История власовской армии» И. Хоффманна и другие.

**БОРИС ХАЗАНОВ** (Геннадий Файбусович) — родился в 1928 году, в Ленинграде. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», пересланная автором из Москвы. Эта повесть и еще несколько рассказов составили впоследствии книгу «Запах звезд». В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где живет и сегодня, работая в журнале «Страна и мир». В 1985 году вышли еще две книги писателя — однотомник прозы «Я Воскресение и Жизнь» и сборник статей «Идущий по воде», а в 1986 году — книга «Миф-Россия».

**ДЖОН ГЛЭД** — профессор Мэрилендского университета. Специалист в области советологии, русского языка и литературы. Заведовал институтом Кеннана по изучению России. Автор многих книг и статей. Его перевод «Кольмских рассказов» Шаламова завоевал премию как один из лучших переводов Америки за 1980 год. За свои славистские и переводческие работы Джон Глэд удостоен приза Гугенхэйма за 1985 год.

**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН** — издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Родился в 1929 году в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы», в 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия», (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и «Театр абсурда».

**ЮРИЙ БОРЕВ** — родился в 1925 году в Харькове, профессор-доктор, член Союза писателей и член Союза кинематографистов СССР. Главный научный сотрудник института мировой литературы Академии наук СССР.

## ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИЗДАТЬ КНИГУ Обратитесь к нам

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПРИНИМАЕМ РУКОПИСИ, КАК НА  
БУМАГЕ, ТАК И НА КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ДИСКАХ (IBM PC & Macintosh)

ДЕЛАЕМ ТАКЖЕ  
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ФОТО-НАБОР

Пишите по адресу:  
GESSEN BOOK ELECTRONICS  
262 Woodcliff Road  
Newton, MA 02161

Или звоните по телефону: (617) 969-6227

## ФОНД

### 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать **ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»**.

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в **ФОНД 100 НОМЕРА**, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в **ФОНД** средства подлежат списанию с налогов.



### Summary for the 107th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

BORIS NOSSIK, "The Hike." A short novel about Soviet life, received via Samizdat channels. In this first-person account of a hike of the kind so widespread in the USSR, the author sharply ridicules the prudery, hypocrisy and lies that pervade the life of a Soviet man even on a nature outing.

ASAR EPPEL, "Red Caviar Sandwiches." The subject of this short story is the nightmare of everyday Soviet socialist life which degrades human dignity at every turn.

SERGEI DOVLATOV, "An IBM Solo." Brief humorous sketches that continue the writer's earlier cycle, "An Underwood Solo."

ANDREI DEMENTIEV, "Carried Away." Lyrical poetry,

TIMUR KIBIROV, "Three Missives." Excerpt from a Samizdat poem.

ERAST GLINER, "The Bewildered Bureaucracy and the Unknown People." An essay analyzing the causes of the failures of Gorbachev's perestroika. The most important tasks, in the author's view, are: to find ways of democratizing the economy; getting the people involved in economic life; and creating a self-regulating system in the USSR.

"The Need for an Iron Hand?" an interview with two Soviet scholars, Igor Klyamkin and Andranik Migranian, published in "Literatumaya Gazeta." The two scholars make a case for establishing a strong authoritarian power in the Soviet Union with the purpose of an economic rejuvenation of society. Philosopher Peter Boldyrev argues against this viewpoint in his commentary, "Can an Iron Hand Save the Soviet Economy?"

SEMYON REZNIK, "The Right Wing on the March." Using numerous factual instances, the author describes the rise of anti-Semitic forces in Soviet literature, including the magazines "Nash Sovremennik" and "Molodaya Gvardiya," and shows the dangers they present to society.

ELENA HESSEN, "Who Are We, Where Do We Come From?" The essay offers a comparative analysis of the most notable of emigre literature as well as a critique of their flaws, and traces the most interesting trends.

"The Discipline and Irresponsibility of the Writer." University of Maryland Professor John Glad interviews well-known emigre Boris Khazanov, who talks about the nature of literature and of the writer's creativity.

VICTOR PERELMAN, "Moscow: Day One." The Essay of the Editor-in-Chief of "Vremya i My" about his recent trip to Moscow.

YURI BOREV, "Enemy of the People." Oral stories and legends about Stalin preserved in the memory of Soviet society as they reveal various aspects of the tyrant's personality.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

## ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

## ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

**264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.**

**Книгу можно заказать в издательстве OPI  
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 ITU, England**

**или в книжном деле**

**A. Neimanis**

**28 Bauerstrasse**

**8000 Munich 40, West Germany**

**Александр Орлов**  
**ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ**  
**ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...  
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...  
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...  
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...  
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...  
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...  
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...  
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...  
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.*

**Заказы и чеки посылайте по адресу:**

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE**  
**LEONIA, NJ 07605, USA**  
Tel.: (201)592-6155

**Григорий СВИРСКИЙ**  
**ПРОРЫВ**

Роман о судьбе эмиграции из СССР

*Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э. Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".*

*Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".*

*В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чьей судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.*

*Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные человеческие драмы, через судьбы героев.*

*"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.*

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов.

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA  
К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку

## ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА  
ЗА 13 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С №1 ПО №100

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
409 Highwood Avenue,  
Leonia, NJ 07605, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУКШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

**ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.**

**КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА, РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.**

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.**

**КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА**

*Цена книги — 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылайте по адресу:*

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201)592-6155

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

**БОРЬБА В КРЕМЛЕ —**

**ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА**

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО  
КРЕМЛЬ — О МИРЕ

О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА  
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО  
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО  
ПОХОРОНАМИ

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО  
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЫШЕЙ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ  
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
409 High wood Avenue  
Leonia, NJ 07605, USA

**"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"**

"Мелкий жемчуг", новая книга **Аллы Кторовой**, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 7 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,  
5838 Edson Lane,  
Rockville, MD, 20852  
USA

**Феликс РОЗИНЕР**

**101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ**

Цикл С ПОЭТИКОЙ аллитераций и  
смысловой игры, словотворчества  
и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи:  
13 отдельных листов в папке  
на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 пронумерованных и подписанных  
автором экземпляров, из которых для продажи  
предназначена только часть

**14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора  
по адресу:  
Felix Roziner  
866 Beacon Str. Apt. 2  
Boston, MA 02215, USA**

## НОВЫЕ КНИГИ ОРИ

Виктор Суворов  
АКВАРИУМ

*«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ». Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников*

366 стр. 9.50 ф.ст.

Илья Земцов и Джон Фаррар  
ГОРБАЧЕВ:  
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

*«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без тоталитаризма?» (из Пролога).*

320 стр. 9.50 ф.ст.

Жак Росси  
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом.

Предисловие Алена Безансона.

*«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, — читаем в предисловии, — занимает оригинальное место... В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования»*

546 стр. 13.50 ф.ст.

Борис Винокур  
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

*Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык*

240 стр. 9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England), в книжном деле A.Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, Munchen 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

панорама

The largest independent  
American Russian publication

крупнейшее независимое еженедельное издание  
на русском языке

Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

**ГЛОБУС.** Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни

**ПУБЛИЦИСТИКА.** В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ АВС, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Лершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман («Пос-Анджелес»), П. Вайль, А. Ганис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Перемыслов, М. Половский, Грегори Рискин (Нью-Йорк), М. Лемкин (Сан-Франциско), Д. Савицкий («Европейская хроника»), В. Лазарис, Ю. Шаргородский, Э. Копельмович (Израиль).

**ЛИТЕРАТУРА.** В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

**ГОЛЛИВУД.** Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

**ЮМОР.** В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства  
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33.00 полугодовой — 18.00 дол.  
Для оформления подписки необходимо заполнить приведенный ниже купон и  
выслать его в адрес издательства «Альманах».

ALMANACH, P. O. Box 480264 Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок: 12 мес / 33.00  
6 мес / 18.00  
в Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64.00 дол.

Чек / денежный ордер / на сумму ..... дол. прилагаю.

Газету прошу направлять по адресу:

Имя: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Номер дома: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_ Штат: \_\_\_\_\_ Зип-код: \_\_\_\_\_

American  
Russian  
weekly

НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

МИХАИЛ КРЕПС

**«ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС»,**  
142 стр.

Михаил Крепс — один из интереснейших и оригинальнейших поэтов русского Зарубежья. Его стихи печатают все ведущие русскоязычные журналы — «Континент», «Время и мы», «Новый журнал», «Стрелец», альманах «Встречи» и др.

Новый сборник отличается необычностью стиля и свежестью поэтического восприятия. Стихи сборника, весьма неожиданные и новаторские для русской поэтической традиции, вызвали оживленные дискуссии как среди специалистов-стиховедов, так и рядовых любителей поэзии.

Цена книги — 9 долларов

Пересылка за счет издательства

Заказы направлять по адресу:

В Европе:

Third Wave Publishing House  
Chateau du Moulin de Senlis 91230,  
Montgeron, France

В США:

Third Wave Publishing House  
266 Barrow Street, Jersey City,  
NJ 07302, USA

---

**ДОРА ШТУРМАН**

**"НАШ НОВЫЙ МИР"**

*Теория. Эксперимент. Результат.*

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность "подпольного анализа". Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу: S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel, Tel. 02/721633

---

*Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН*

**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ**

**В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

Предварительная подписка на  
издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет **НОВЫХ** анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel

Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН**

**ТЕАТР АБСУРДА**

**Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я**

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»**

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62**

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

*Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel. (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.  
В книге 254 стр.

**ТАМАРА МАЙСКАЯ**

**«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»**

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

*«Т.Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А.Андреев «Новое русское слово»).*

*«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы)*

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**Tamara Mayskaya  
11501 Mayfield Rd., No. 306  
Cleveland, OH 44106, USA**



---

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ.** Пикассо и окрестности. — 12 долларов.  
**М. БАХТИН.** Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.  
**А. БЕЛЫЙ.** Христос воскрес. — 5 долларов.  
**К. ВАГИНОВ.** Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.  
**Е. ДУМБАДЗЕ.** На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.  
**П. П. ЗАВАРЗИН.** Работа тайной полиции. — 10 долларов.  
**А. КОТОМКИН.** О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.  
**П. Н. КРУПЕНСКИЙ.** Тайна императора. — 7 долларов.  
**В. И. ЛЕБЕДЕВ.** Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.  
**Н. РЕЗНИКОВА.** Пушкин и Соборная. — 5 долларов.  
**А. РЕМИЗОВ.** Пляс Иродиады. — 12 долларов.  
**И. СЕВЕРЯНИН.** Колокола собора чувств. — 5 долларов.  
**В. ШКЛОВСКИЙ.** Ход коня. — 12 долларов.  
**В. ШКЛОВСКИЙ.** Гамбургский счет. — 15 долларов.  
**В. ШКЛОВСКИЙ.** Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.  
**В. ШКЛОВСКИЙ.** Техника писательского ремесла. — 10 долларов.  
**Э. и О. ШТЕЙН (составители).** Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

**В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев).** Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

**E. SZTEIN'S ANTIQUARY**

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

---



---

## ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1990

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605. USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

---

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE:

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605  
(201)592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, август 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены  
компанией NAME Advertising Co.**

**На первой странице обложки: коллаж Вагрича Бахчаняна.  
На четвертой странице обложки: фото Михаила Дашевского  
«Девочка в Ярославле».**

